



ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ: ПЕЧАТЬ ДОЛГОВА

АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ

Зона Отчуждения

Александр (Колючий)

**Зона Отчуждения:
Печать Долгопятова**

«Автор»

2026

(Колючий) А. Л.

Зона Отчуждения: Печать Долгопятова / А. Л. (Колючий) —
«Автор», 2026 — (Зона Отчуждения)

Разведка среднего пояса Зоны приводит Юрия к разрушенным цехам, где скрываются экспериментальные твари лаборатории, а найденные там документы с именем Тихона Гнилова и печатью барона Долгопятова превращают его из случайно выжившего каторжника в живую угрозу для всего Департамента Реакторного Надзора.

© (Колючий) А. Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Второе клеймо	5
Глава 2. Тени в цехах	11
Глава 3. Тишина, которая лжёт	17
Глава 4. Второе дыхание	23
Глава 5. Строй из тени	29
Глава 6. Метка под кожей	35
Глава 7. Человек без оружия	41
Глава 8. Весть без подписи	47
Глава 9. Знак на притолоке	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Александр (Колючий)

Зона Отчуждения: Печать Долгопятова

Глава 1. Второе клеймо

Игнат зажёл огарок в жестянке и поставил её мертвецу у головы, на дверное полотно. Огонёк лёг вбок, потом выправился.

Я опустил на колено. С первого раза не вышло: голень не пустила, и я сел на бедро, как сажился на осыпи, и уже оттуда подобрал колено под себя. Дверь под ним качнулась на бочке.

Клеймо было выше сердца на два пальца. Ободок ровный, без разрыва. Буквы внутри стояли тесно. Я начал считать слева и на четвёртой сбился: она ушла в складку кожи. Кожа по краю оттиска свернулась валиком и побелела.

Валик я тронул пальцем, и тронул левой — правая пальцами не жмёт третий день.

Край крошился сухо, крупой из-под ногтя, без сукровицы. Точно так же он крошился у того, в литейном. Я тогда тоже трогал, и тоже левой, и вытер палец о штанину, и вот теперь вытер о штанину опять.

Второе клеймо за неделю. Люди разные, банды разные, а края крошатся одинаково.

— Ерофей, — сказал Тимофей от бочек. — Ты соль-то нашёл или нет?

— Соли нет, — сказал Ерофей. — Крупа есть, полторы горсти, и она с землёй. Я её выбираю.

— Выбирай. Только в мешок потом не сыпь.

— Я и выбираю на тряпку.

Ко мне подошёл Тимофей и встал рядом, с топором в руке. Топор он о доску обтёр наспех, и с зазубрины книзу шло тёмное, ещё не подсохшее по кромке. Он этого не видел, потому что держал топор у колена, а глядел на дверь.

— Ты его на колонне помнишь? — сказал я.

— Помню. Он за носильщиками шёл. Второй справа.

— Он у Векшина был?

— У Векшина. — Тимофей помолчал. — Юрий Аркадьевич, а ведь тот, из цеха, был не Векшина.

— Не Векшина.

— Тот был вообще ничей. Он там лежал раньше, чем Векшин на эту гряду пришёл. — Он переложил топор в левую и потёр большим пальцем о ладонь. Пальцы у него после ожога врасстырку, в горсть не идут. — Значит, метят не по банде. Метят кого попало — кто под руку попался в этой стороне.

— Так выходит.

— Если мстят — то знаешь кому и знаешь, когда перестанут.

— Слышу.

— Я вслух говорю, чтоб ты за мной пересчитал. — Он поглядел на бочки. — Ерофей, ты доску под крупу с земли не бери, там мокро. Возьми ту, что у кладки.

— Та под ружьями.

— Ружья сдвинь.

Сапоги у мертвеца были подшиты драгвой, и подшиты не в шаг: с одной стороны стежки мелкие, с другой через палец, будто дошивал уже второй человек и торопился. Ноготь на большом пальце левой руки был чёрный, старый, сходил.

И тут внутри повернулось.

И оттуда сказали то же, что говорили при Игнате, слово в слово, ровно, без насмешки, которую я привык ждать:

— Это не мутация. Это чья-то работа. Таких будет больше.

Я не двигался.

— Ищи, откуда метят, — сказали внутри. — А не кого.

— Кто метит, — сказал я. Вслух не сказал, а сказал внутрь, как говорил у линзы. —

Откуда — это где? Назови.

Ничего.

Пульс я стал считать под перевязью и на пятом ударе потребовал, чтобы ответили. Пульс шёл, перевязь была холодная, борозда под ней третий день мокла и теперь не грелась.

Ничего. Захлопнуто, как после первого раза, когда я двое суток спрашивал в пустое.

— Ты у него что-нибудь берёшь? — спросил Игнат.

Он стоял с той стороны двери, на прямой ноге, и держался за бочку.

— Взял. Ночью взял, с рубахи.

— Я не про тряпку. Я про то, что ты сейчас губами шевелил.

— Ничего не беру.

— Ну ничего и ничего. — Игнат помолчал. — Юрий Аркадьевич, его закапывать-то надо.

Он тут до утра пролежит, и к нему кто-нибудь придёт. Не человек.

— Утром.

— Утром — это ты решил или ты так сказал?

— Утром, — сказал я и стал вставать, и встал со второго раза, взявшись левой за верхний угол двери.

От бочек Ерофей сказал, ни к кому:

— Крупа с песком. Я её промою, когда воду дадут.

Тимофей повернулся к нему всем телом:

— Воду не дам. Вода на промывку.

— Тогда так сварю. Кто разжует, тот и съест.

— Свари.

Копали, как рассвело.

Место выбрали у частокола, шагах в шести от кладки, где земля после дождей ещё держала воду и лопата шла. Дальше, к канаве, начинался щебень, и там я не стал бы и пробовать.

Лопат было две. Одна с обрубленным черенком — та самая, из подсобки, я её носил ещё в первую неделю. Вторая нашлась у Сивооковых, целая, полотно широкое, в двух местах склёпанное.

— Клёпка не заводская, — сказал Тимофей, повертев её.

— Ефим ставил, — сказал Ерофей. — У нас Ефим всё клепал.

— Который Ефим?

— Тот, что в канаве.

Больше Тимофей ничего не спросил и стал копать. Копал он с левой ноги, потому что правая не сгибается, и через каждые три-четыре штыка разворачивался всем корпусом, чтобы выбросить землю в сторону. Земля летела на одно место, куча ползла обратно в яму, и он подгребал её сапогом.

Мне досталась та, с обрубленным черенком, и с ней вышло хуже. Правой держать не мог: пальцы не жмут четвёртый день.левой на коротком черенке не наляжешь, и я налегал коленом. На третьем штыке в голени отдало, я переставил ногу и дальше копал с остановками.

Глубоко не вышло. Вышло в полтора штыка, может, чуть больше, и на дне пошла глина с камнем, и Тимофей сказал:

— Хватит. Глубже до полудня будем сидеть, а мне частокол править.

— Хватит.

Прохора несли трое: Тимофей, Кузьма и один из Сивооковых, длинный, я не знал, как его звать. Кузьма нёс правой, левая была притянута к боку через телогрейку, и он шёл боком, приставляя ногу. Холстина держалась плохо — её и было-то одни остатки, — и на середине двора она отошла у ног, и стало видно сапог. Длинный поправил на ходу, локтем, и холстина отошла снова.

Аглая шла позади и несла лоскуты. Она их сложила стопкой, ровно, и прижимала к груди обеими руками. Лоскутов было четыре. Ночью она сняла с плеча Прохора ту тряпицу, которой сама же его перевязывала вечером, — потому что тряпица целая, а живых у нас пятеро с ранами, — и с тех пор не выпускала её из рук. На нём под холстиной не осталось ни витка. Я это знал и посмотрел ещё раз.

Опускали за концы холстины, и на последних полшага она у них поехала, и он ушёл на дно сам.

Все стояли.

Я стоял у края, и говорить было мне.

— Прохор Никитич Кулебякин, — сказал я. — Турбинный, вторая смена. Он вынес меня из цеха... нет. Я его выносил.

Кто-то у бочек переставил ногу.

— Он стоял в дозоре, когда его никто не заставлял, — сказал я. — Он держал доску и стрелял два раза, и оба раза попал.

Я хотел сказать дальше про то, как он не выпустил нож, и вместо этого у меня пошло другое, само, тем голосом, каким читают по бумаге:

— Со скорбью душевною провожаем прах верного...

И тут я услышал себя.

Так у нас в Воронцовке говорили над своими, в церкви, при свечах, и говорил это человек в лиловом, и мать держала меня за плечо, чтобы я не оборачивался. Я это слышал четыре раза.

Здесь были доски, глина, бочки и одиннадцать чужих людей, и чужая лопата лежала у ямы плотном вверх.

Я замолчал на середине и молчал долго. Не мог придумать ни одного слова, которое сюда встанет, и в голове вместо слов крутилось, что глубже надо было хоть на штык, потому что придёт не человек.

Тимофей нагнулся, набрал земли правой горстью и бросил вниз.

Земля глухо упала на холстину, и он отступил, и вытер руку об штанину, о бедро, туда и обратно.

— Ну, — сказал он. — Прохор Никитич.

После него стал Кузьма. Нагибаться ему нельзя, он присел на правое колено и кинул горстью с правой, а полоску свою сушёную держал в это время за щекой и не жевал.

Игнат бросил, стоя на прямой ноге, и качнулся, и придержался за Сенькино плечо.

Сенька бросил двумя руками — не понял, как надо было.

Сивоок стоял чуть позади своих. Он снял шапку.

Снял он её не тогда, когда бросил Тимофей, и не тогда, когда я замолчал, а после Сеньки — сдёрнул рывком, будто вспомнил, и не знал, куда её потом деть, и сунул под левую руку, и переложил в правую.

Кузьма посмотрел на него сбоку и ничего не сказал, и Игнат тоже ничего не сказал.

Его люди сняли шапки за ним.

— У нас так не делали, — сказал Ерофей негромко, сам себе.

— Теперь делают, — сказал Сивоок.

В барак я позвал шестерых. Огарок Аглая поставила на банку, банку на кирпич, и света хватало только на полстола. Стол у нас на трёх ножках, четвёртый угол лежит на кирпиче: налягут локтем — огонёк качает.

— Сядьте кто-нибудь на тот край, — сказал Тимофей. — А то он гуляет.

Сел Ерофей, а Сивоок остался стоять, и шапку он так и держал в руке.

— Одиннадцать твоих на ногах, — сказал я. — Развожу по постам вместе с нашими. Не кучей.

— Кучей проще, — сказал Сивоок.

— Проще. — Я взял со стола гнутый гвоздь и стал медленно крутить его в левой. — Ставлю не кучей. Западный — твой человек и Кузьма. Восточный — твой и Сенька. Боковая щель — твой и Игнат Петрович, пока он на ноге. Помост — двое твоих и я.

— На помосте доска играет, — сказал Тимофей. — Средняя. Я её утром перебыю, гвоздей у меня четыре.

— Два, — сказала Аглая. — Два вы вчера в латку забили.

— В латку я забил гнутые.

— Значит, четыре.

— Я и говорю — четыре.

Сивоок переложил шапку в другую руку.

— Мои привыкли, что я говорю, а они идут, — сказал он. — Я их так пять месяцев водил, ещё до Векшина. Ты им сейчас скажешь своё, они посмотрят на меня.

— Тогда стой в совете постов, — сказал я. — Тут, у этого стола, со всеми. Разводим вместе, свист один, смена одна.

Он подумал недолго и надел шапку.

— Стою, — сказал он.

— Данила Гаврилыч, — сказал Ерофей от края стола, — а харчи-то как? У нас крупы на утро горсти три, и то с землёй, коза...

— Помолчи.

— Я к тому, что люди в дозоре стоят, а не ели с полудня.

— Крупы я утром пересчитаю, — сказал Тимофей. — Всю, и вашу, и нашу, в одну тряпку. Раздельно я считать не буду, я так со счёта сойду.

— В одну, — сказал Сивоок.

Он повернулся ко мне уже от двери и заговорил медленно.

— В дозор — пускай. В бой я их одних не поставлю. Ни одного. Они сегодня в полдень лезли в нашу щель, а к вечеру у нас на посту. Я не про то, что они плохие, я про то, что руки помнят.

— Мои не лезли, — сказал Сивоок. — Мои встали.

— Шесть встали. Трое лежат в грязи.

Сивоок на это ничего не сказал.

— В пары, — сказал Тимофей. — Первое время. Один наш, один их, и наш с железом. Через неделю посмотрим.

— Так и разводим, — сказал я.

Игнат сидел у стены и тёр шрам на голени через штанину. Потёр, поглядел на дверь и потёр опять.

— Юрий Аркадьевич. Утром в цеха кто пойдёт?

— Пойду я.

— Ты там был два раза, и оба по верху, по завалу. А оба тела нашли внизу — и этот, с двери, и тот, с ватника. Внизу оно всё перемешано, там пролёты сложились друг в друга. Я туда с этой ногой не полезу, я честно говорю: я на третьем провале сяду.

— Кто знает низ?

— Никто из наших. — Игнат повернулся к Сивооку. — Ваши по цехам ходили. Не первый месяц.

— Митяй Косой ходил, — сказал Ерофей. — Он по мелочи брал, крупного не носил. Зато ходы там знает. Он у нас в третий пролёт лазил, когда мы ещё...

— Митяй пойдёт, — сказал Сивоок.

— Он с ним и лазил, — договорил Ерофей.

Аглая сидела на койке и держала на коленях тряпочку с иглами, не разворачивая её. Потом сказала:

— Долг Марфе Петровне.

— Помню, — сказал я.

— Шесть дней она дала с утра после отбития волны. Волну отбили нынче. — Она подождала. — Шести дней не прошло. Вы сами Тимофею Игнатьевичу сказали — два, и это считая с нынешнего. Я не знаю, откуда у вас два, но я слышала.

— Два и есть, — сказал Тимофей. — Юрий Аркадьевич считает наперёд, и правильно считает. У неё за просрочку взыскатель приходит с Федюней, я Федюню видел.

— Я его тоже видела. Он мешок нёс.

Пришлось встать и выйти к доске, где лежало всё трофейное. Два дробовика с обрезанными ложами, десять патронов донцами в один ряд, две жестянки пороха — в обеих фунт с четвертью. Одну жестянку я поднял, покачал и вернулся.

— Один дробовик и одна жестянка. Двадцать пять она с этого закроет с лихвой, — сказал я.

— Ружьё отдавать, — сказал Тимофей.

— Отдавать.

— Стволлов у нас четыре, станет три. — Он потёр ладонь о ладонь и намотал тряпку плотнее. — Ладно. Ружьё без патронов — палка.

— Кузьма понесёт, — сказал я. — С утра, не в последний день. Пусть идёт налегке и пусть ждёт расписку.

— У него плечо не идёт.

— Правая идёт, он мешок под правую и возьмёт.

Тимофей посидел, кивнул и подбил ногой кирпич под столом, потому что край опять поехал.

Разошлись не сразу. Сивоок ушёл к бочкам, и оттуда ещё долго говорили. Про цеха ни слова: у кого-то из его людей развалился сапог по шву, и спорили, резать ли второй, чтобы залатать первый. Спорили двое, и один всё повторял своё: «ты его высуши сперва, ты его сперва высуши». Кран за стеной капал, три счёта — капля, и пенька лежала рядом как лежала.

Свист пришёл с западного, когда я уже сидел у стола и вертел в пальцах гнутый гвоздь. Два коротких.

Я встал и пошёл к западному, ставя ногу боком. Тимофей вышел от пролома, и у помоста мы сошлись, дальше пошли вместе.

Игнат стоял на здоровой ноге, а больную держал на носке, чуть отставив, и на нас не посмотрел.

— Там, — сказал он. — У дальней кромки. Где цеха начинаются.

— Человек?

— Я свистнул два, потому что не зверь. — Он переложил вес и сморщился. — Ты сам говорил: на зверя не свисти. Я и не на зверя.

— Что видел?

— Крупное, тёмное. Оно шло вдоль балок, вон там, где ржавьё грудой, и шло тихо. Юрий Аркадьевич, я тихо не хожу и ты не ходишь. Такое большое и так тихо — это не человек.

— Быстро шло?

— Быстро. Не как собака бежит, а... — Он подумал. — Как вода в жёлобе. Ровно и быстро.

— Сколько?

— Одно. Я одно видел. За балками не поручусь.

Между кольями был прогал, и я приложился к нему глазом. Ночь стояла с маревом по низу, и дальняя кромка развалин мутнела, как стекло, на которое подышали. Груда балок угадывалась горбом. Больше ничего.

Смотрел я дольше, чем надо было: уже понял, что ничего не разберу, а всё стоял и вглядывался, и в голове зачем-то шло: балки те лежат с осени, я их считал, когда ходил по верху, — семь штук, и восьмая под ними, у неё конец загнут вверх. Восьмую сейчас видно или нет, вот что мне было важно.

И тут внутри, справа от сердца, где заслонка, что-то коротко подобралось.

Так у собаки перестаёт ходить челюсть за миг до рыка.

Глаз от прогала я не убрал.

— Ушло, — сказал Игнат. — Пока вы шли, оно за балки и ушло. Я говорил.

— Ты не говорил.

— Ну, теперь говорю.

— С той стороны балок что?

— Спуск. За ним второй пролёт, который сложился. — Он потёр шрам через штанину. — Юрий Аркадьевич, я ведь мог и не разглядеть. Ночью на мареве как в воде: рябь пошла — и вроде идёт что-то, а это рябь. Я на кордоне так стрелял в куст три раза, а там куст.

— В куст ты не свистел бы.

— Не свистел бы, — согласился он.

У бочек всё спорили про сапог. Кто-то сказал: «утром решим», и второй ответил, что утром ему в этом сапоге идти.

От кольев Тимофей отошёл, постоял, глядя на западный склон, и обтёр ладонь о ладонь.

— Значит, так, — сказал он. — Утром уже не про клеймо разговор. Утром идём туда, откуда оно к нам само пришло.

Игнат опустил больную ногу на всю подошву и сразу поднял на носок.

Глава 2. Тени в цехах

Рассвело раньше, чем я успел решить, что кому отдам.

Доска лежала там же, на двух кирпичах у частокола, и на ней с ночи лежало всё железо. Я стал разбирать его на две кучи, левой рукой — правая четвёртый день не сжималась, ею я только придерживал.

В левую кучу: дробовик с обрезанной ложей, тот, что сняли с Векшина, — на ложе три зарубки поперёк, и я не знал, чьи они и за что. Пять патронов, уложенных донцами к себе. Мешочек с порохом.

В правую: второй дробовик, оба наших ружья и пять патронов, что остались.

— Жестянку целиком не отдам, — сказал Тимофей. Он пришёл, встал над доской и сразу поднял жестянку, покачал её на ладони, как я качал ночью. — Тут фунт с четвертью. Зарядов двадцать пять, если на одно ружьё.

— Уговор был — жестянка.

— Уговор был «дробовик и жестянка пороха», а сколько в жестянке, ты ей не говорил. — Он отсыпал в мешочек, прижав жестянку локтем к животу, потому что горстью ему не взять — пальцы после ожога не сходятся. — Сто грамм. Я на глаз с копей вешу, я тебе и пуд угля на глаз назову.

— Сто, — сказал я.

— Остальное нам.

Мешочек он завязал сам, в две петли, и подал Кузьме.

Кузьма увязывал груз долго. Левая у него была подвязана к боку поверх телогрейки, и он всё делал правой и зубами: подтянул узел, взял мешок за узел, тряхнул, опустил, перевязал заново и тряхнул опять. С третьего раза поднял его к плечу.

— Дважды проверил, — сказал я.

— Я его на себе двое суток понесу. — Он переложил полоску мяса за другую щёку. — У Стрижа один так шёл, а узел развязался, и он полдороги в тряпке нёс.

От бочек подошёл Ерофей.

— Юрий Аркадьевич, я с ним пойду.

— Тебя не звали.

— Так двоим-то безопаснее. Он одной рукой. Если что — он и мешок не подхватит, и от собаки не отмахнётся. — Ерофей поправил пояс под ватником, тронул его ладонью и убрал руку. — А я налегке, я и мешок возьму, если он сядет.

Он оглянулся на Сивоока: тот стоял в шести шагах и говорил своим, кому куда, и на нас не смотрел.

— Данила Гаврилыч, — сказал Ерофей громче. — Я к Балке пойду.

— Иди, — сказал Сивоок, не поворачиваясь. — Пахома тогда на восточный, а Сеньку с ним.

Ерофей ещё раз тронул пояс.

— Крупую я промыл, — сказал он мне. — Воды взял из той, что на промывку не годится, а она годится, если сверху сливать. Полторы горсти было, стало горсть.

— Иди, — сказал я.

Кузьма пошёл первым, боком, приставляя ногу, и Ерофей за ним.

Второй дробовик Тимофей забрал с доски и стал щёлкать предохранителем. Щёлкнул, поглядел, щёлкнул опять.

— Митяя я в цеха не возьму, — сказал он.

— Сивоок его дал.

— Дал. — Щёлк. — Он к нам в боковую щель ночью лез. За железом. Я его тогда сам к койке проволокой вязал.

— Ходы он знает.

— Ходы знает. — Щёлк. — И знает, где нас узко. Мы вниз пойдём, там пролёты один в другой, и он впереди. Я туда за ним с этой ногой не побегу.

— Кто тогда?

Тимофей положил дробовик и обтёр ладонь о ладонь.

— Сажин. Роман. Длинный такой, он вчера Прохора Никитича в ногах нёс и не отпустил, когда холстина поехала. — Он помолчал. — И он в третий пролёт с Митяем лазил. Ерофей вчера начал про это и осёкся. Я за него договорил: они вдвоём лазили.

За стеной капало через три счёта, как всю ночь. Пенька у крана лежала седьмые сутки.

— Пеньку-то, — сказал я.

— Не сегодня.

Я позвал Сажина. Он подошёл, вытер руки о штаны, и я поглядел на них: ногти сбиты, на правой ладони поперёк старая мозоль от лома.

— Низ цехов знаешь?

— Знаю до второго провала. Дальше не ходил, там вода.

— Пойдёшь с нами.

Сажин глянул на Сивоока. Тот ставил Пахома на восточный и даже головы не повернул.

— Пойду, — сказал Сажин.

Игнат сидел у кладки и мямл голень через штанину.

— Я на третьем провале сяду, — сказал он.

— Сядешь, — сказал я. — Дойдёшь и сядешь. Мне надо, чтоб ты показал, где оно шло.

— Дойду, — сказал Игнат. — Мне бы палку. Только не эту, эту Аглая забрала.

— Возьми у бочек, там обрубок.

Сажин слушал и потирал подбородок большим пальцем. Шрам у него шёл под губой на сторону, старый и белый.

— Ты в третьем пролёте был, — сказал я.

— Был.

— Что там.

Он потёр ещё раз и убрал руку.

— Мы туда за железом ходили, вдвоём, — сказал он. — До третьего пролёта конвейера. Там лента лежит, резина, её резать можно на подошвы, я себе резал, вот. — Он поднял сапог и показал носок. Носок был подшит резиной. — А дальше третьего мы не заходили. Ни разу.

— Почему.

— Данила Гаврилыч не велел. — Сажин подумал. — Нет, врать не буду. Он не велел уже после. А сперва мы сами не пошли.

— Что там.

— Запах, — сказал Сажин. — Тяжёлый. Он не как гниль, я гниль знаю: мы у канавы двух собак месяц не убрали. Гниль в нос бьёт и отпускает. А этот сладкий, стоит ровно, и от него слюна идёт густая.

Из-под моей перевязи третий день пахло так же — сладко, ровно.

— Стоит и стоит, — сказал он. — В третьем пролёте ещё ничего, а тянет снизу, от спуска.

— Ещё что.

— Ещё Афанасий у нас пропал. — Сажин повернулся вполборота к бочкам, потом обратно. — Он пошёл за третий смотреть, один. Дурак был, только крепкий. Мы его ждали два часа, потом пошли по нему, а там ни его, ни крови. Юрий Аркадьевич, ты пойми: крови нет вообще. Ни капли, ни мазка по кладке. У нас Ефим в прошлом году от собак ушёл — так там всё было натёкано, я по натёку и шёл.

— Который Ефим, — сказал Тимофей.

— Тот же самый. Который в канаве теперь лежит.

— Ясно.

— Он мне сапог клепал, между прочим. Не сапог, скобу на голенище.

— Крупку считать в одну тряпку, — сказал Тимофей, ни к кому. — Я вчера сказал и сегодня скажу.

Вышли по серому, все вчетвером.

Тропу вёл Игнат — ту, что верхом по завалу. Он её топтал осенью, а теперь шёл на прямой ноге, палкой доставая землю впереди себя, и шел раньше, чем обещал, у литейного.

Литейный стоит остовом. Крыши нет, фермы легли внутрь и торчат наружу через окна, кирпич по низу закопчён на два роста, выше — рыжий. У западного угла, между двумя опорами, я нашёл первое тело неделю назад, и в этом углу до сих пор лежит его ватник — я его не взял, потому что из него был вырезан лоскут.

— Тут, — сказал я Сажину.

Он посмотрел, посопел и ничего не сказал.

Лом я нес левой, у середины. Правая не держит пятый день, и я перекладывал в неё только на ровном, где не жалко его упустить. За поясом сзади был нож с изолентой — тот, что Прохор не отдал и что Тимофей вчера не взял. Он так и лежал на кладке с ночи, и я его взял утром, сам, никому не сказав.

Он мне давил в хребет через каждый шаг, и я четыре раза его перекладывал, и на пятый оставил как есть.

— Помост, — сказал Тимофей за спиной. — Среднюю доску я не перебил.

— Вечером.

— Я к тому говорю, чтоб ты за мной проверил.

За литейным пошёл спуск. Балки лежали грудой, восемь штук, и нижняя с загнутым концом.

Собаку мы нашли у самого спуска, там, где кладка расходится и в проём тянет холодом.

Трёхголовая, взрослая, она лежала распластанная на боку, лапы вытянуты в одну сторону, ровно, будто её кто уложил и потянул за задние. Шкура на груди была цела, мясо целое, ни одна голова не тронута.

Разрез шёл по шее сбоку, ниже средней головы, длиной в две ладони, края ровные.

Я присел — со второго раза, на бедро, потом на колено — и посмотрел близко. Шкуру отвернули набок, и она так и держалась, как держится жесть, если надрезать её ножницами и отогнуть. Ни рванины, ни клочьев. Крови было мало, вся она стояла в ране, а по камню вокруг сухо.

— Собака собаку так не берёт, — сказал Тимофей.

— Не берёт.

— И мясо не взято.

Игнат подошёл, глянул сверху, отвернулся и полез рукой к голени.

Сажин потрогал подбородок и сказал:

— Афанасий тоже целый лежал бы. Если б лежал.

— Он и лежал бы, — сказал Игнат. — Только он не лежит.

— Я и говорю: если б.

Игнат обошёл собаку и остановился в проёме. Проём был в два шага, и по обе стороны стояли опоры — толстые, в обхват, с остатками анкеров по низу. Игнат их оглядел и полез за пазуху.

Вытащил моток бечёвки. Она была тонкая, суровая, витков в ней осталось немного, и на одном конце висел колокольчик — козий, с расплюснутым ушком. Выменял он его в Балке,

ещё когда ходил туда сам, и говорил тогда, что взял за две щепоти соли, и что баба сперва не отдавала.

— Ты это зачем? — сказал Тимофей.

— Затем, что мы туда пойдём, а обратно — тем же местом.

— Мы обратно верхом пойдём.

— Ты верхом пойдёшь. А я с этой ногой на завал не полезу, я вчера при всех сказал. — Игнат обвязал конец за анкер, низко, у самого камня, и потянул к другой опоре. — Я так первый месяц ходил. У меня тогда бечёвки было три сажени, и я её на ночь по кругу вязал, и спал.

— И помогало?

— Один раз помогло. Три раза звенело зря, ветер.

Второй конец он затянул на высоте ладони от земли, и колокольчик повис у опоры, чуть выше камня. Толкнул его пальцем — звякнуло коротко и глухо.

— Тихий, — сказал Сажин.

— Он мне не в поле нужен.

Дальше пошли по спуску. Спуск был осыпью из битого кирпича, и я ставил ногу боком и придерживался ломом. Голень отдавала на каждый второй шаг, и я считал шаги.

Внизу крыша обвалилась внутрь и легла косо, и свет шёл через дыры в ней полосами, и в полосах стояла пыль. Под ногами лежал спёкшийся шлак, грудками, чёрный, с блеском по излому. Пахло старой гарью, как в бочке, в которой жгли ветошь.

Сажин шёл последним и один раз остановился.

— Мне к полудню велено назад, — сказал он.

— Помню.

— Я не к тому. Я к тому, что у меня сапог по шву разошёлся, а второй резать они не дали.

— Тимофей Игнатьевич, слышишь.

— Слышу, — сказал Тимофей. — Проволоку дам. Обмотаешь по подошве в три оборота, и до вечера дойдёт.

— Проволока режет.

— Портянку подложи.

— Портянка у меня одна.

Тимофей на это ничего не ответил, потому что встал.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он тихо. — За грудой.

Груда была шагах в двадцати, и за ней шевельнулось.

Оно вышло из-за края шлака и остановилось.

В холку оно было мне по грудь — вдвое выше любой собаки, какую я тут видел. Голова одна. По плечам и по хребту шли пластины, сросшиеся неровно, наплывами, и я не понял, металл это или шкура. По краю одной что-то блестело.

Оно дошло до бечёвки.

Не задело, не переступило, а стало в полушаге, опустило голову к нити, постояло так и отвело морду в сторону.

— Оно её видит, — сказал Игнат мне в плечо. — Оно её видит.

— Молчи.

Оно повело плечом, и на боку, сзади, где шкура была рассечена старым шрамом и стянута белым, стояло клеймо. Ободок. Внутри — птица о двух головах. Тот же оттиск, что на груди у мертвеца с двери, и на лоскуте из литейного, только больше — шрам растянул его вбок.

Оно издало короткий гортанный звук, будто внутри у него один раз провернулось. Помолчало, издало опять, и ещё раз, и промежутки между ними были одинаковые: я просчитал их дважды по своему пульсу, и вышло по пять.

— Это оно нас звало? — сказал Сажин.

— Тихо.

Из глубины цеха ответили. Тот же звук, дальше и глубже, за третьим пролётом, и только один раз.

Тимофей взял топор в правую руку и переложил обратно в левую.

Оно повернуло голову к нам. Я стоял с ломом в левой и глядел ему на морду, потому что смотреть больше было некуда, и ждал, что оно пойдёт. Оно посмотрело на меня, потом ниже, на лом, и подержало так, как смотрит человек, когда прикидывает вес чужого инструмента.

Потом развернулось и ушло за грудку тем же местом, каким пришло.

— Сажин, — сказал я. — Ты такое у себя видел?

Он ответил не сразу.

— У нас Афанасий говорил, что видел. Мы смеялись.

— Кто такой Афанасий?

— Ходил у нас впереди. — Сажин потёр шрам на подбородке большим пальцем и договорил: — Осенью не пришёл.

— Здесь?

— Вон там. — Он мотнул головой, не показывая рукой. — За тем завалом. Мы его три дня искали, потом бросили.

— Идём, — сказал я.

Пошли шагом. Бежать по этому полу нельзя: он весь из битой плитки, плитка под ногой качается, а под ней пустота. Сажин повёл левее, вдоль стены, где кладка стоит и есть за что взяться.

— Тут короче, — сказал он. — Только завал огибаем широко. Я в него не полезу.

— Из-за Афанасия?

— Из-за него. — Он помолчал шагов пять. — Там сверху лист лежит, а под листом ничего нет. Мы кричали, он не отзывался.

Вторым шёл Тимофей и щёлкал предохранителем — взад-вперёд, через два шага. Я ему ничего не сказал. Патронов у нас в этом ружье не было ни одного, и он это знал лучше меня, потому что сам их вчера считал вслух на доске.

Игнат отставал. Большую ногу он ставил боком и на каждый третий шаг придерживался за стену, и штанина у него на голени темнела в одном месте.

На повороте я встал.

Я послушал глубину за спиной — тихо — и поднял левую руку, раскрытой ладонью вперёд, к тому пролёту, откуда ответили. И вдохнул, забирая в себя, как забирал тогда во дворе, когда рябь стянулась к середине и пошла ко мне. Тогда во мне что-то поддалось.

Сейчас я стоял с поднятой ладонью и вдыхал пыль. Внутри, справа от сердца, было гладко и глухо. Ничего не подобралось и не повернулось. Я вдохнул второй раз, глубже, и на середине вдоха у меня в голени отдало, и я опустил руку.

Тимофей смотрел на мою ладонь.

— Что?

— Ничего, — сказал я.

— Ты руку зачем поднял?

— Опустить предохранитель. Ты его сотрёшь.

Он щёлкнул ещё раз, уже нарочно, и убрал палец.

Я шёл дальше и думал о том, как это выглядело со стороны: человек с ломом стоит в пустом цехе, тянет ладонь в темноту и дышит. Тогда во дворе оно было в двадцати шагах, и рябь я видел глазами. А это ушло за грудку. Может, поэтому, а может, и не поэтому, я не знаю.

У выхода Сажин присел и сдвинул с прохода обломок кирпича, зачем — не сказал.

— Игнат Петрович, — сказал Тимофей. — Дай руку.

— Дойду.

— Дай руку, тебе тут через кромку идти.

— Дойду, я говорю.

Мы вышли к пролому в стене, где щебень идёт наружу горбом, и тут оно началось.

Вой пошёл сзади, из цехов. Не один голос. Первый повёл, и на него легли ещё, и легли почти без разнобоя — так на Реакторе вступали насосы, когда их пускали колонной. Долгий, ровный.

Я стоял и считал голоса. Вышло четыре, пересчитал — опять четыре.

— Оно сказала, — проговорил Игнат тихо. — Оно нас видело и сказала.

Сажин не обернулся. Он смотрел вперёд, на открытое, и рука у него лежала на прикладе.

Мы вылезли на щебень, и до частокола оставалось шагов триста, когда вой оборвался.

Не стих — оборвался, все четыре разом, на одном месте, будто одному накрыли рот, а остальным этого хватило.

В ушах он ещё долго стоял.

Глава 3. Тишина, которая лжёт

Из тени последнего цеха Сажин вывел нас не там, где я думал, — правее, вдоль глухой стены, где кладка ещё держится.

— Тут выход чище, — сказал он. — С того угла в прошлом году половина стены легла.

Следом вышел я и встал рядом с ним.

Пустошь лежала до самого частокола. Земля голая, каменистая, местами вспучена волнами — шлак когда-то вытек и застыл. Ни куста, ни бочки, и полторы сотни шагов до первой ямы: я прикинул дважды.

Левую руку я поднял, и все остановились.

Вой оборвался, и тишина после него была неправильная. Такая тишина врёт. Я слушал долго, дольше, чем надо: цеха за спиной, пустошь, опять цеха. В цехах капало где-то далеко и редко. На пустоши не было ничего — ни ветра в железе, ни птицы. Так бывает в цехе, когда пускают воздух: он уже пошёл, а звука ещё нет.

Кузьма подошёл сзади и стал рядом. Челюсть у него ходила, хотя за щекой было пусто: сушёная кожа кончилась у него вчера, я сам видел, как он последний обрезок разжевал у бочек и глотал долго.

— Юрий Аркадьевич. — Он подвигал челюстью. — А если краем?

— Каким краем?

— По развалинам. Вон, влево, вдоль отвала, и там низом. Дольше выйдет, я не спорю. Зато у тебя всё время стена под правой рукой.

— На час дольше, — сказал Тимофей.

— На час, ну и час.

— На полтора, — сказал Игнат.

— Ты сядешь три раза, вот и полтора, — сказал Тимофей. — Кузьма, у нас в частоколе двадцать два человека, и половина не знает, что тут четыре голоса. Про клеймо я вообще молчу. Мы им сегодня скажем или завтра?

— Сегодня.

— Значит, идём прямо.

— Там Данила за старшего остался, — сказал Кузьма. — Он к вечеру посты по-своему переставит, вот увидишь.

— Пусть переставляет.

Кузьма опять подвигал челюстью и переложил мешок под правую руку. Мешок был увязан в две петли, узел он проверял ещё утром.

— Я к тому, что мы с Ерофеем и так день потеряли, — сказал он. — Мне до Балки двое суток, а я ещё тут стою.

— Про это я тебе отдельно скажу, — сказал Тимофей.

— Скажи. Только я на вой повернул не сам. Ерофей стал и стоит, а я с одной рукой его на себе не понесу.

— Я стал, — сказал Ерофей. — Оно завыло, я и стал. Ты сам сказал: наши там.

— Наши там, — согласился Кузьма.

Игнат поставил левую на всю подошву, подержал и опять поднял на носок.

— Три дня, — сказал он. — Я утром сказал — три, и я при своём. Они собираются, когда сходятся голоса. Поят день-два и пойдут.

— Ты это где брал? — сказал Сажин.

— На кордоне. У переезда так собаки шли, только у них два голоса было.

— Тут четыре.

— Тут четыре, — сказал Игнат.

Он не стал ждать, пока я скажу своё. Переложил вес на здоровую и шагнул на открытое первым, палкой пробуя землю перед собой.

— Цепью, — сказал я. — Десять шагов. Тимофей Игнатьевич за ним, потом Кузьма, потом Ерофей, потом Сажин. Я последним.

— Я привык идти впереди, — сказал Сажин.

— Здесь всё видно.

Он не спорил. Пошёл и на четвёртом шаге присел, подтянул проволоку на подошве — Тимофей дал ему её у спуска, три оборота, и портянку Сажин подложил ту самую.

— Режет, — сказал он.

— К вечеру дойдёшь.

— Дойти-то дойду. Подошва у меня вторая за год.

Лом я нёс левой у середины, а нож с изолентой давил в хребет, и я его переложил. Голень дёргала через шаг, и я опять стал считать.

Ерофей шёл впереди меня и через каждые двадцать-тридцать шагов трогал пояс под ватником — ладонью, сверху вниз, и убирал руку.

Гребень из спёкшегося шлака шёл поперёк пустоши, невысокий, мне по колено, и цепь наша перешла его по одному, каждый на своём месте.

Оно поднялось из складки за гребнем.

Не выбежало. Оно там лежало плоско, вжавшись, и стало подниматься с земли медленно, спиной вперёд. Я успел подумать, что мы шли на него шагов сорок и никто его не увидел.

Оно было длиннее собак и уже. Шкура в рубцах поперёк, рубцы старые, затянувшиеся белым. А на груди, ниже горла, стоял тёмный круг с ободком, и в ободке — птица о двух головах.

— Стой! — сказал Тимофей.

Оно не пошло сразу. Оно стало и повело головой по цепи — слева направо, от Игната к Тимофею, от Тимофея к Кузьме, и на Кузьме задержалось, и дальше, на Ерофея, на Сажина, на меня. Я стоял последним и видел всех шестерых сразу, и видел, как эта морда идёт по нам сверху вниз, будто считает.

Потом оно вернулось к Игнату.

Игнат стоял, отставив левую на носок, и палку выставил вперёд, и палка у него дрожала книзу.

Оно прыгнуло на него.

Не зубами начало — весом. Ударило грудью, и Игнат ушёл спиной в шлак, и палка вылетела, стукнув о камень дважды. Оно придавило его лапой в грудь и взяло пастью низом, за голень. За ту самую, левую, где швы Аглаи и где штанина темнела всю дорогу от литейного.

Игнат крикнул коротко и осёкся, и дальше только хрипел через зубы.

— Оно его выбрало, — сказал я вслух, никому.

Тимофей пошёл на него, крича без слов, разворачиваясь на левой пятке через шаг, а топор держал в левой. Сажин обошёл слева и ткнул пикой в бок, под пластину, и пика вошла на ладонь и стала, и он налёг на неё всем телом и не дал дожать захват.

Оно рвануло головой. Игнат поехал по шлаку на спине шага на полтора, и держался за лапу у себя на груди обеими руками, и упирался, и пальцы у него были белые.

— Кузьма, к бедру ему! Выше колена жми! — крикнул Тимофей.

— Я одной! — Кузьма стоял с мешком под правой. — Куда мне мешок?

— Брось!

— Тут порох. Фунта не будет, а всё порох.

— Брось, тебе говорят!

Он положил его — не бросил, положил, — на гребень, донцем вниз, и пошёл боком, приставляя ногу.

С ломом в левой я успел за эти шаги попробовать ещё раз. Поднял ладонь, как у поворота, и потянул в себя. Внутри, под правым ребром, было гладко и глухо, как и в цехе, и ничего там не подобралось, и я опустил руку и перехватил лом ниже.

Ударил Тимофей — топор с зазубриной пошёл по пластине, соскользнул вбок, в шлак, и от камня брызнула искра.

— Жёсткое сверху! — сказал Сажин. Он висел на пике, и голос у него шёл через зубы. — Юрий Аркадьевич, оно наверху жёсткое, я на боку стою!

— Держи, где стоишь.

— Я и держу.

Ерофей стоял у гребня, где мешок, и не двигался.

— Ерофей!

— Иду, — сказал он и пошёл, и на ходу опять прошёлся рукой по поясу.

Оно перехватило: отпустило голень и взяло выше, у самого шва, и в этот раз я услышал, как оно взяло — коротко и глухо, через ватник и рубаху. Игнат больше не кричал. Он открыл рот и не кричал, и рука у него сошла с лапы.

Тимофей ударил второй раз по морде, сбоку, обухом. Обух взял по щеке, и голова у него ушла в сторону, и оно на миг разжало хватку.

— Ещё! — сказал Сажин.

Тимофей не стал ещё обухом. Он переложил топор — я видел, как он его перевернул в левой, коротко, большим пальцем по обуху, — и ударил лезвием в шею, сбоку, снизу вверх. Взмах был короткий, от локтя, без замаха над головой. Так колют чурку, когда её уже надкололи и осталось добить, — он этой рукой двадцать лет колол.

Топор вошёл и стал. Из-под него пошло тёмное, почти чёрное, густое, полилось ровно, без толчков, и потекло по пластинам вниз.

И оно всё равно потянулось.

Передней лапой, той, что была на груди у Игната, оно повело вперёд и вбок — к ноге Тимофея. Потянулось длинно, доставая, и когти прошли по шлаку с шорохом.

— У него не убывает, — сказал я.

— Чего?

— Ничего. Бей ниже.

Тимофей выдернул топор — двумя приёмами, шатнув, потому что зазубрина за что-то зацепилась внутри, — и ударил третий раз. Пониже, между рёбер. Целил он сам, я ему не показывал, и вошло всё целиком, до топорика.

Оно легло сразу, боком, и лапа, которая тянулась, дошла до конца и осталась вытянутой, и больше уже не двинулась. Пластины на хребте стукнули о камень.

Кузьму оно к этому времени уже отбросило. Он подходил к бедру, как ему и сказали, и с первого маха его достало в плечо — в то самое, где перевязка, — и он ушёл спиной на гребень, где лежал его мешок. Мешок он не задел. Теперь он поднимался: встал на колени, с колена на ступню, и по подбородку у него шло красное — губа была разбита изнутри, и он сплюнул и потрогал её языком.

— Мешок целый? — сказал он.

— Целый, — сказал Ерофей.

— Я на него не сел?

— Не сел ты на него.

Ерофей с Сажиним уже волокли Игната в сторону, к кладке, взяв под руки, и нога у Игната волочилась по шлаку, и он на этой дороге ни слова не сказал. Ерофей разорвал на себе рубаху — рванул от подола, зубами прихватив, — и подвёл полосу выше колена, и стал крутить обломком палки, той, что Игнат брал у бочек.

— Выше, — сказал Сажин. — Выше берёшь.

— Я и беру выше.

— Ты по швам берёшь, а швы там.

— Мне швы твои сейчас не швы.

Кузьма стоял над тушей и смотрел не туда, куда все.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — А это что у неё?

Рана на груди раскрылась, когда оно легло, — там, где стояло клеймо. Шкура разошлась по старому шраму, и в мясе, в глубине, было видно железо.

Не кость. Короткий стержень, вершка в полтора, с гранёным навершием, и грани забиты тёмным давно, не сегодняшним.

И над ним дрожал воздух.

Так дрожит над раскалённым листом, когда дальний край плывёт. Только день был пасмурный, и железо в мясе было холодное, а плыло.

— Не лезь пальцем, — сказал я.

— Я и не лезу.

Рядом я опустил со второго раза: голень не пустила, я сел на бедро и оттуда подтянул колено.

Потом поднял левую и потянулся к стержню.

Я делал это, как делал у линзы, как делал во дворе с рябью: находишь в себе то место справа от сердца и берёшь им, будто кладёшь руку на прикипевшую гайку и пробуешь, поддается ли она. Пальцы у меня в воздухе шли к железу, а внутри я искал место.

Соскользнуло.

Не в руке — рука до стержня и не дошла. Внутри. Ход был знакомый, тот же, и он пошёл вхолостую, как ключ, который встал на грань и провернулся, ничего не свернув. Будто с той стороны заперто, и заперто не мной.

Руку я убрал и посмотрел на неё.

— Ты его брать хочешь? — сказал Кузьма. Он всё трогал губу. — Так я топором подрежу. Тимофей Игнатьевич даст.

— Стой где стоишь.

— Стою.

Начал заново, медленно. Смотрел на рябь, на то, как она держится над навершием и не идёт вбок. Так меня учили смотреть на слабое место: глазом его не выищешь, надо ждать, пока само покажется.

Внутри было гладко.

Потянулся ещё раз, ровнее, и досчитал про себя до пяти.

— Ерофей, — сказал Тимофей от Игната. — Ты крути, крути, не держи.

— Кручу.

— Он у тебя ослаб.

— Он у меня не ослаб, он у меня в палку упёрся.

Игнат сказал что-то, и я не разобрал.

Рябь над стержнем стояла как стояла.

Я стал в третий раз.

Тянуть уже не стал, сидел и смотрел, как смотрел бы на манометр, у которого стрелка ходит не в такт: не торопить, дожждаться, пока сама покажет. Рябь над навершием шла узко, в две грани шириной, и книзу, к мясу, её не было вовсе. Значит, держится за верх. Значит, и брать надо за верх, а не всё.

И оттуда, изнутри, справа от сердца, пошло.

Не как у линзы. У линзы дёрнуло и высушило, и после я не мог встать. Тут холод вышел из груди широко и разом, будто вместо капельного крана отвернули задвижку в палец, и пошёл по плечу, по локтю, в кисть. Ладонь я держал раскрытой, и на середине ладони стало горячо в

одну точку. Стержень под пальцами сел в себя, просыпался внутрь, как крошится сухарь, если сжать. Гранёного наверху не стало. Ряби не стало.

Ладонь жгло. Я перевернул её и посмотрел: поперёк, у основания пальцев, шла полоса в ноготь шириной, белая по краю, и кожа на ней стянулась.

А внутри не было ни жара, ни картинок.

Было тягуче. Так наливается рука, когда долго держишь на весу что-то тяжёлое и потом опускаешь: тяжесть без боли. И вместе с этим я понял, что тело моё сейчас выдержит больше, чем выдерживало, пока я тут сидел на щебне и принаравливался к этому стержню. Не быстрее и не сильнее в руке. Дольше.

Я поднял голову.

Кузьма стоял, где ему было сказано, и жевал пустое — полоска у него кончилась третьего дня, а челюсть всё ходила. Он смотрел мне на ладонь и ничего не понимал. Ерофей сидел над ногой Игната, спиной ко мне, и крутил жгут.

И мне захотелось, чтобы кто-нибудь глянул сейчас как надо. Не Кузьма, а Тимофей чтобы глянул. Или Сажин.

Головы я к ним даже не повернул, сидел и ждал, и ладонь всё жгло.

— Юрий Аркадьевич, — сказал Ерофей. — Час он у меня продержит. За час я ручаюсь.

Встал я со второго раза, опершись о щебень правой, и ожог тут же отозвался.

— А дольше?

— Дольше не ручаюсь. — Он подвёл палку под последний оборот и завёл её за жгут. — Кровь идёт не струёй, она сочится. Рваное так и сочится, оно не запирается. До частокола идти дольше часа, вы сами знаете.

— Знаю. Патроны целы?

— Шесть в ружьях, пять к дробовику. Ни одного не ломали.

— Я к тому говорю, чтоб потом не было, что Хорь наврал.

Игнат сидел и глядел в сторону цехов, не на ногу.

— Ты его послабее, — сказал он.

— Послабее — это тебе не жгут, а подвязка.

— Он мне ступню отжимает.

— Ступня твоя мне сейчас последнее дело.

Подожёл Тимофей, присел на левую и взял Игната под мышки. Игнат ухватил его за воротник. Тимофей потянул, скривился всем лицом и стал разворачиваться на левой пятке, оседая: правое колено у него второй месяц не гнётся.

— Тяжёлый, — сказал он. — В тебе пуда три с половиной.

— Четыре с лишним.

— Три с половиной, я на глаз вешу.

— Ты меня в бане вешал?

— Я мешки вешаю сорок лет.

Сажин у туши сидел на корточках с ножом. Он потрогал большим пальцем шрам под губой, потом отвернул шкуру у самого клейма и повёл лезвием кругом, широко, не жалея. Снял лоскут с клеймом, стряхнул с него шерсть, обтёр о щебень и завернул в тряпицу — в ту, что лежала у меня за пазухой с двумя прежними. Он её у меня взял молча и молча вернул, уже с третьим.

— Третий, — сказал он.

— Третий.

Я тронул пазуху левой.

— Пошли, — сказал я.

Тимофей поднял Игната на плечо, я подставился с другой стороны, и мы пошли — а надо было раньше.

Прошли шагов восемь, и Игнат, висая между нами, на каждом шаге охал в воротник.

Потом из цехов, из глубины, из-за третьего пролёта, поднялся вой.

Один повёл, на него легли остальные, и я стал считать и на шести бросил, потому что голосов было больше, чем я успевал класть на пальцы. Вой не оборвался. Он держался, в нём всё прибавлялось, и он шёл сюда.

Глава 4. Второе дыхание

Бежать с ним на плече нельзя было, и мы пошли шагом, но быстрым.

Я держал Игната под правой подмышкой, Тимофей под левой, Игнат обвис у нас на руках и шаг за шагом хватал воздух ртом у моего воротника. Через полсотни шагов Тимофей стал сдавать: колено у него не гнулось, он разворачивался бедром, и нас вело влево.

— Сажин, — сказал я.

Сажин подошёл и подставил плечо вместо Тимофея, а лом взял под свободную руку. Ростом он был на голову выше меня, и Игнат сразу поехал вбок, шагов десять мы шли врасстыпку, пока не подобрали высоту.

Тряпица у меня вылезла из-за пазухи, когда я поднимал Игната, и три лоскута упали на шлак. Сажин подобрал их и зажал в горсти, вместе с ломом.

— За пазуху мне суй, — сказал он потом. — Мне всё не удержать.

— В кулаке держи.

— Держу.

Вой шёл за нами и не приближался. Я слушал его на каждом четвёртом шаге и всё ждал, что он возьмёт ближе. Он держался ровно, всё на том же месте. Я оборачивался дважды, и Кузьма оборачивался всю дорогу, через шаг, боком, с мешком под правой.

— Никого, — говорил он. — Юрий Аркадьевич, никого там.

— Иди.

— Я иду. Я к тому, что если они не идут, так чего мы бежим.

— Тимофей Игнатьевич, сколько до частокола?

— Двести с чем-то, — сказал Тимофей. Он шёл третьим и дышал ртом. — Двести двадцать было от гребня, мы сто прошли.

— Меняемся на сотне, — сказал я.

Игнат на этих словах поднял голову и сказал:

— Ерофей.

— Что?

— Ерофей мне ступню отжимает.

— Он тебе не ступню, он тебе кровь держит.

— Он мне палку не туда завёл.

Ерофей шёл сзади и слышал, но промолчал. Он и на пустоши так шёл — на своих двадцати шагах, и раз в двадцать шагов проверял что-то у себя под ватником, у пояса, и убирал руку. Я это второй день видел и молчал.

На западном углу частокола свистнули. Два коротких, потом один. Свистел кто-то из людей Сивоока — у наших свист другой.

Ворота из связанных досок пошли наружу раньше, чем мы дошли. Их толкнули двое, и створка встала косо, зацепив землю нижним углом.

Первой выбежала Аглая. В руках у неё были тряпки — три или четыре, в скатке, — и фляга, и во фляге что-то болталось на дне.

Она обошла нас, наклонилась к ноге Игната и посмотрела на жгут — на палку, на оборот, на пальцы. Пальцы у него побелели.

— Сколько он под жгутом? — сказала она.

— Час, — сказал Ерофей. — Я за час ручался.

— Час с четвертью, — сказал Тимофей.

— В барак. Прямо в барак, за второй ряд коек. Кладите его, слышите? — Она выпрямилась. — На спину кладите. Он у вас сядет — я потом жгут снимать не смогу.

— Аглая Ильинична, там кровь сочится, не струй, — сказал Ерофей.

— Я вижу, что сочится. В барак.

Они понесли его через ворота — Сажин, Тимофей и Ерофей, — и Аглая пошла рядом и на ходу обтирала руки о полу халата, хотя ничего ещё не трогала.

У створки я остался один.

Сивоок стоял в трёх шагах, у бочки, и смотрел, как нас пронесет мимо. На меня посмотрел последним. Оглядел робу, перевязь, ожог на ладони — я держал её открытой, потому что сжать не мог, — и голень, и лом у Сажина в руке. Задержался он на лоскутах. Сажин так и шёл с ними в кулаке, и клеймо на верхнем было наружу.

— Три, — сказал Сивоок.

— Три.

Больше он мне ничего не сказал, а повернулся и позвал:

— Митяй. Пахома с восточного сюда, на западный, и сам стань с ним. Ковригина с помощи не снимай, пусть сидит.

— Данила Гаврилыч, у Пахома на восточном Сенька один останется.

— Пусть один. — Сивоок дёрнул подбородком в сторону цехов, откуда оно шло. — Оттуда слушайте. Пары не разводите. Свистеть в три.

Митяй пошёл, оглянулся на меня, и я на него посмотрел, и он отвернулся.

Кузьма положил мешок на землю, донцем вниз, и стал осторожно трогать разбитую губу языком.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — А я, значит, завтра пойду?

— Завтра, — сказал я. — С утра, как рассветёт. Не раньше.

— Так я и так с утра шёл, а вышло, что не шёл.

— Значит, второй раз выйдешь.

Он подобрал мешок и понёс его к бочкам, держа под правой рукой, и на ходу говорил сам с собой про узел.

В бараке было темнее, чем на дворе. За вторым рядом коек Аглая работала при своём огарке, и оттуда шло: «Держи под пятку. Под пятку, а не под голень». Игнат не отвечал.

Наш огарок стоял на банке. Я выложил лоскуты на стол, все три, рядом, клеймами кверху, и подровнял их левой рукой. Стол качнулся — угол его сидит на кирпиче, и кирпич поехал. Тимофей подбил его ногой, не глядя.

— Ободок и птица, — сказал я. — На человеке, на том, что из литейного, и на этой. Одно и то же, только у этой растянута вбок, потому что шрам.

Сивоок нагнулся над столом, лоскуты не тронул. Постучал костяшками по рукояти ножа на поясе — три раза, коротко.

— Дальше.

— Оно пошло не на первого и не на ближнего, а повело головой по цепи и вернулось к Игнату, к тому, кто стоял на носке.

— На самого хромого, — сказал Тимофей.

— Да.

— И не бросилось сразу, — сказал Тимофей. — Оно стояло и глядело. Собака так не стоит, собака идёт с разбегу. Я их видел за ночь штук пять.

— Шесть, — сказал Сивоок.

— Пусть шесть.

— Дальше, — сказал Сивоок.

— В мясе у неё сидело железо. Стержень, вершка полтора, навершие гранёное. — Я положил ладонь на стол, кверху ожогом, потому что сжать её всё равно не мог. — Над ним дрожал воздух. День пасмурный, а дрожал.

— И?

— Я его взял. С третьей попытки. Первые два раза соскользнуло.

На ладонь он посмотрел, потом опять на лоскуты.

— Взял — это как?

— Его не стало, — сказал я. — Просыпался внутрь.

На это он только повёл плечом. За стеной у крана капало — через три счёта капля: пеньку никто не намотал восьмью сутками.

— Вой, — сказал Тимофей. — Про вой скажи.

— Скажи ты, ты его считал.

— Я его начал считать, да бросил. — Тимофей сел на койку, вытянув правую: колено у него не гнётся второй месяц. — Юрий Аркадьевич до шести дошёл и перестал, и я тоже. Их там не одна и не две, и это только те, которые отозвались. Кто не отозвался, того я не считаю.

От стола он отошёл на шаг и опять постучал костяшками по рукояти.

— Тогда я спрошу прямо, — сказал он. — У нас проход к цехам открыт. Верхом по завалу, там, где Игнат тропу топтал. Мне туда двух человек ставить, а у меня их и так везде по одному стоит. — Стук. — Не проще завалить его камнем и забыть? Кладку у спуска сронить, там она сама держится на честном слове. Полдня работы, и нет прохода.

— Есть кладка, которую я сроню, — сказал Тимофей. — Только они не по нашей тропе ходят.

— Ты меня послушай, а потом говори. — Сивоок повернулся ко мне. — Я двадцать восемь человек кормлю. Мне интерес один: чтоб они утром были.

— Цеха — единственное место, откуда мы про это что-то узнаем, — сказал я. — Больше нигде. Клеймо ставят по трафарету, через ткань, и ставят на людей и на зверей. Кто ставит и зачем — я не знаю. Осетров не скажет, Марфа не знает. Завалим проход — будем сидеть за досками и слушать, что оттуда идёт.

— Или не придёт.

— Или придёт с той стороны, где у нас один Сенька.

Челюстью он подвигал, как Кузьма, только за щекой у него на этот раз ничего не было.

— Складно говоришь, — сказал он. — На суде бы так говорил.

— Говорил.

Из угла, от кладки, где сидел Ерофей, сказали негромко:

— Данила Гаврилыч дело говорит.

Сидел он там всё это время молча, и я про него забыл. Теперь он поднялся, вышел на свет огарка и обтёр ладони одну о другую.

— Я не про то, чтоб завалить, — сказал он. — Заваливать-то зачем. Я про то, что их там больше, чем мы думали. Утром думали — четыре. Теперь шесть, а Тимофей Игнатьевич говорит, и не шесть. — Он помолчал. — Так, может, сперва частокол? У нас пролом досками зашит, верхняя ходит, помост на двух бочках, а средняя вовсе треснула. Игнат Петрович лежит, Юрий Аркадьевич на ногу припадает. А вниз, в пролёты, и через неделю сойдём. Неделей позже — оно и вернее.

Тимофей кивнул. А рука у Ерофея, пока он говорил, прошла по поясу под ватником — сверху вниз, ладонью, — и убралась. Так же она ходила у него на пустоши, когда он стоял над мешком.

— Средняя доска, — сказал Тимофей. — Я про неё третий день говорю.

— Вечером перебеёшь.

— Вечером уже темно.

— Тогда с утра, — сказал я. — Вниз пойдём, когда Игнат встанет и я смогу держать лом правой. Не раньше.

— Разумно, — сказал Ерофей и сел обратно к кладке.

Сивоок ещё раз стукнул костяшками по ножу и вышел.

Снаружи он сказал Пахому что-то про воду, и Пахом хмуро ответил, что не его черёд.

Аглая шила Игната у второго ряда коек, при огарке. Сам я сидел у стены, где сложены доски, и ждал, пока это пройдет.

Оно не проходило.

Сперва я подумал, что от огарка тянет гарью, и вытер под носом рукой. На тыльной стороне ладони осталось тёмное, узкой полосой. Я обтёр её о штанину и вытер опять, и опять осталось тёмное. Кровь шла тонко, ровно, не толчками, и я её не почувствовал ни разу.

— Тимофей Игнатьевич, — сказал я. — Дай попить.

— Кружка на кирпиче.

Кружка Прохора стояла там, где он её поставил. Я взял её левой, потому что правая пятый день не жмёт, поднёс к рту — и она пошла в руке. Не выскользнула, а рука сама пошла, от кисти, мелко и часто. Я прижал локоть к боку, но это не помогло.

Кружка стукнула о доски и легла на бок.

Вода растеклась по полу и ушла в щели между досками, вся, за три счёта. Тёмная полоса осталась и стала светлеть с краёв.

— Это последняя, — сказал Тимофей от стола. Он не встал. — Первую я утром на Игната извёл, промывать. Осталась одна.

— Знаю.

— Ты не знаешь, ты скажи: одна.

— Одна.

Он подобрал кружку, поставил её на кирпич вверх дном и остался стоять над ней, глядя.

Аглая закончила швы и стала складывать лубок. Доски у нас были от сарая, и она выбрала две, приложила к голени, перемотала выше и ниже колена и подтянула зубами. Под ногтями у неё было чёрное, а средний ноготь обломан до мяса.

— Ступню чувствуешь? — сказала она Игнату.

— Жмёт.

— Пальцы чувствуешь, я спрашиваю.

— Жмёт, говорю.

Она надавила ему на большой палец и подождала, глядя.

— Розовеет, — сказала она. — Утром опять посмотрю.

Потом взяла тряпку, подошла и села рядом со мной на доски. Тряпку она сложила вчетверо, подала мне к носу и держала, пока я не взял сам, и не спросила ничего. Ни того, что я делал у туши, ни того, откуда идёт кровь.

— Голову не назад, — сказала она. — Вперёд наклони, а то в горло пойдёт.

— Помню.

— Помнишь, а сидел, задрал.

Она поменяла мне тряпку два раза, и второй раз — почти сухую.

Снаружи, у бочек, Сажин говорил Кузьме, что проволока на подошве села вбок и режет ему через портянку, и что портянка у него одна, и Кузьма отвечал, что ему завтра двое суток идти, а он ещё вчера должен был выйти, и что Марфа за потерянный день с них ещё возьмёт, и что он на это не подписывался. Они замолчали, и Сажин опять начал про портянку.

Ночь я пролежал в углу, лицом к кладке, и слышал каждый шаг по щепню снаружи.

Утром я не встал. Тимофей приходил дважды, а потом принёс кружку, воды в ней было на два пальца, и я выпил, держа её двумя руками, левой снизу и правой сверху.

К середине второго дня стало легче настолько, что я мог считать капли за стеной.

И на каком-то счёте внутри у меня, справа от сердца, раздался смехок.

Короткий и сухой. Не надо мной.

«Дёшево не бывает, — сказала оно. — Но эта плата хоть окупится».

— Сколько окупится, — сказал я в кладку.

Оно молчало.

— Когда.

Ничего.

Я перевернулся на спину. У окна Аглая мыла руки над ведром, вода шла ей на пальцы тонкой струйкой, и она их тёрла долго, дольше, чем надо, хотя воды у нас всего одна канистра.

— Кровь больше не шла? — сказала она, не оборачиваясь.

— Не шла.

— Значит, к вечеру встанете.

К вечеру я встал, а во двор вышел только на третий день, к полудню.

Тимофей сидел у бочек и проверял узел на растяжке, хотя узел был его же, вчерашний.

— Камень мне найди, — сказал я. — Самый тяжёлый, какой у частокола есть.

Он поднял голову и хмыкнул, потом покачал головой и сказал:

— У нас на помосте средняя не перебита. Я тебе про неё который день говорю.

— Перебьём.

— Камень тебе зачем.

— Померить надо.

— Что померить.

— Меня.

Поглядел он на мою правую руку, потом на левую, встал с бочки на левую ногу и пошёл за барак, к тому месту, где кладка выворочена. Вернулся не сразу и не с камнем. Он катил обломок плиты — по щебню, переваливая его с ребра на ребро, и на каждом перевале кричал. Обломок был в полдверцы, с арматурным огрызком из угла и с фаской по краю.

— Вот, — сказал он и сел. — Эту мы с Прохором Никитичем вдвоём на кладку ставили. По весне.

— Сколько в ней.

— Пудов пять. Может, с половиной.

— На глаз?

— Я мешки вешаю сорок лет.

Я обошёл её и присел на корточки. Взял её за низ, под фаску, левой у арматуры, правой плашмя — правая пятый день не жала, и я ею только придерживал. Прикинул: возьму от бедра, спину буду держать прямо, как учили брать кувалду.

Оторвал я её от земли легко.

Она пошла кверху так, будто в ней было пуда два, и я не поверил, подержал её у бедра и посчитал. Потом выпрямил руки перед собой и держал ещё. На шестнадцати ладонь под ожогом дёрнуло, на двадцати я всё ещё стоял.

— Второе дыхание, — сказал Тимофей с бочки. — И то с запозданием.

Месяц назад я и половины этого не поднял бы от земли. А тут стоял и считал, и в голове само пошло: пять с половиной пудов, двадцать счётов, а если бы взять три пуда — сколько тогда, минуту? Две? и до какого веса он вообще встанет?

— Юрий Аркадьевич, — сказал Кузьма от бочек. Он подошёл и стал в стороне, двигая челюстью. — Ты её не на ногу.

— Стой, где стоишь.

— Я стою. Мне и уходить пора, я после полудня выйду. Марфа за день уже возьмёт, а за два...

Я рванул её выше — коротко, от груди, тем же приёмом, каким только что взял с земли.

Спину прострелило поперёк, ниже лопаток, налево. Руки сами разошлись. Плита ушла вниз, ударила углом в щебень в полшага от моей ступни и легла плашмя, и меня посадило на землю рядом с ней.

Я сидел и дышал ртом. В спине стояло горячее, и вдох упирался во что-то на середине.

— Сила силой, — сказал Тимофей. Он не встал и рук не подал. — А кости у тебя те же. И спина та же.

— Знаю.

— Знал бы — не дёргал.

Кузьма присел рядом на корточки и взял меня за правое предплечье, повернул к свету.

— А это где?

Позавчера, у гребня, оно достало меня краем лапы поверх перевязи. Царапина была в три пальца и шла косо, наискось через мясо. Теперь на ней сидела корка и по краям кожа уже стянулась.

— Позавчера.

— Позавчера, — сказал Кузьма. Он подвигал челюстью и дёрнул углом губы — за все дни я такого у него не видел. — У меня такое неделю мокнет. Я вон об эту плиту руку задел, когда Тимофей Игнатьевич её катал, — он показал предплечье, синее в две ладони, — она у меня как синела, так и синееет. Значит, не плита тут.

— Не плита, — сказал я.

Кузьма ещё посидел, потом пошёл к бочкам за мешком и уже по дороге сказал, что узел он перевяжет в третий раз, и что Ерофей с ним теперь не идёт.

Ерофей стоял у дальнего края частокола — отошёл, пока все смотрели на плиту, — и говорил с тем, кто пришёл от Векшина. Стояли близко, и Ерофей опять держал руку у пояса под ватником. Тот кивнул, и он пошёл обратно, будто ходил глядеть кладку.

Я упёрся правой рукой в щебень и стал медленно подниматься.

С восточного края свистнули — два раза, потом три, и Пахом закричал в голос:

— Идут! С цехов идут!

Я наконец встал и увидел: они шли по пустоши, десяток, ровным строем, держа шаг.

Глава 5. Строй из тени

Я сделал первый шаг и чуть не сел обратно.

В спине рвануло под левой лопаткой — там, где вчера прострелило от плиты. Вдох встал на середине. Я взялся левой за столб частокола и держался за него, пока не нашёл, как поставить ногу: плашмя, всей ступнёй, и корпус не разворачивать.

— Юрий Аркадьевич, десять! — кричал Пахом с восточного. — Или девять!

Я пошёл к пролому и считал сам.

Восемь я насчитал, пока шёл, потом ещё двух — они шли за первыми, приотстав на шаг. Всего десять. Пустошь до цехов голая, я её мерил третьего дня дважды: сто сорок шагов до первой ямы. Шли они не так, как ходит зверь.

Стая идёт мешком: вперёд лезет ближний, кто-то отстаёт понюхать, кто-то уходит вбок и возвращается. Эти шли клином. Один впереди, за ним двое чуть сзади и по бокам, за теми — по трое, и промежутки между ними держались. Я взял глазом промежуток между вторым и четвёртым и смотрел на него, пока они не прошли шагов сорок. Он не менялся.

— Строй, — сказал я.

— Чего? — сказал Тимофей.

У пролома он уже стоял, с ружьём в левой руке, и переступал на левой пятке.

— Они строем идут.

— Идут и идут. — Он поднял голос: — Кузьма! Кузьма, на западный край!

Кузьма шёл от бочек с мешком под правой рукой и даже не остановился.

— Я после полудня выхожу.

— Ты после полудня уже вторые сутки выходишь.

— Так меня же вой повернул, не я сам. — Он всё-таки стал. — Тимофей Игнатьевич, у меня в мешке дробовик Марфин и порох Марфин. Я его развяжу — я его назад так не увяжу, узел в две петли.

— Развязывай.

— С меня она за дробовик спросит.

— С тебя мёртвого она ничего не спросит. Стань у крайнего кола и стреляй по ближнему, а не по первому.

Кузьма сел на корточки у бочки и стал развязывать мешок одной рукой — левое плечо у него было притянуто к боку с той ночи, и узел он тянул зубами.

Сивоок стоял у стола и слушал молча.

— Восточный, — сказал он мне, не Тимофею. — Там после ремонта частокол на две ладони ниже. Я своих туда возьму, четверых. Митяя, Пахома, Ковригина с помоста сниму.

— Ковригина оставь.

— Ковригин мне на восточном нужнее, чем на бочках.

— Ставь как знаешь.

Он пошёл, на ходу выкликая имена, и на «Ковригин» голос у него сорвался вверх.

Сажин встал в самом проломе, где доски. В руках у него был кол от старого частокола, обмотанный под самым концом проволокой в четыре оборота, чтобы дерево не разошлось. Он попробовал обмотку большим пальцем и подвинул её на палец ниже.

— Юрий Аркадьевич.

— Что.

— Я такие видел. Три дня назад, в цеху, где ту первую нашли. — Смотрел он на пустошь, мимо меня. — В тени, за литейным. Я подумал — железо, там всякого железа. А они стояли в ряд.

— Сколько.

— Не считал. Больше трёх. — Он снова подвигал колом и добавил: — Я тогда солгал бы, если бы сказал, что видел зверя. Мне там железо виделось.

За спиной, в бараке, загремели доски.

Аглая тащила Игната на носилках из двух жердей и холстины — тащила за головки жердей, волоком, спиной вперёд, в дальний угол, к глухой стене. Игнат приподнимался на локтях и шипел через зубы: лубок у него сползал, доска цепляла за пол.

— Положи, — сказал он ей. — Положи, я сам.

— Лежите.

— Аглая Ильинична, ты меня к стене тащишь, а я хочу к проёму.

— В проёме вас затопчут.

Она дотащила и опустила. Он нашёл меня взглядом через весь барак.

— Юрий Аркадьевич! Крайний левый угол держи! — Он говорил громко и с натугой, и на середине сорвался в сип. — Который от бочек левее. Там доска короче остальных на палец, я её сам ставил, гвоздь один. Пролома нет, а щель есть.

— Слышу.

— Ты не «слышу», ты человека туда поставь!

Аглая надавила ему на плечи ладонями и держала.

Кузьма развязал мешок и достал дробовик, и порох в жестянке поставил на землю рядом, донцем вниз.

Взял он его под правую, потому что левая у него не поднималась.

— Порох я тут ставлю. Тут он у меня под ногой, я его вижу.

— Ставь.

— Я к тому, что если я его в мешке держу, а мешок на плече, так он у меня за спиной.

— Кузьма.

— Молчу.

С места я смотрел на пустошь, где строй держал шаг, и всё ждал, что они дойдут до гребня и перевалят его, как переваливали мы. А по гребню никто не пошёл. Строй разошёлся надвое, шагов за полтора, — половина ушла влево, за отвал, половина правее, под кладку, и обе половины пропали из виду разом.

— Обходят, — сказал Сажин.

— С двух сторон.

— Так они с двух и придут.

Пахом с восточного крикнул раньше, чем я успел ответить, и слов в крике не было, одно горло.

И они ударили в левый угол — в тот самый, о котором кричал Игнат. Их было четыре, и шли они не по одной, не пробуя: вышли из-за бочек разом, будто их там держали и отпустили, и пошли на доску, которая на палец короче.

— Кузьма, влево! — сказал я. — Сажин, стой в проломе, не сходи!

— Я и не схожу.

От кирпичей бухнуло. Тимофей стрелял вдоль забора, стоя на них, и я слышал, как он на повороте охнул: шеей он не может, поворачивается на левой пятке. Передней твари взяло в бок, и она пошатнулась. Она села на задние, крутнулась и легла поперёк, и я подумал — вот и всё, теперь их три и они станут.

Но следующая пошла по ней.

Следующая пошла по ней.

Наступила на бок, прошла и с шага не сбилась, будто под лапой был не бок, а доска. Я стоял в семи шагах и видел под драной шкурой на её груди тусклый отблеск, как от олова, и на нём ободок, и в ободке две головы. Прижжено оно или вшито, я не разбирал, но железо было

под кожей, и по нему шла гравировка, та же самая, что я четвёртый день носил за пазухой в тряпице.

— Пластина у них, — сказал я громко. — В грудь не бейте. Бейте в скулу.

— Куда? — сказал Кузьма.

— В скулу!

Он выстрелил в упор, и я не видел куда.

Вожак вышел последним.

Он был крупнее прочих на полголовы, и пластина на груди у него шире — от плеча до плеча, по краю с зубцами. Вдоль частокола он прошёл три шага, нашёл пролом, где стоял Сажин, и пошёл туда.

Сажин ткнул колом, кол ушёл вбок по пластине, и Сажина отнесло на доски.

Я бросился наперехват.

Четыре дня назад я поднял от земли обломок в пять с половиной пудов и держал его на двадцать счётов, и тогда же уронил, и я это помнил руками. И сейчас я потянул в себя то место справа от сердца — не спрашивая, не считая, просто потянул, как тянут за ручку задвижки, которую уже открывал.

Оно отозвалось.

Тело пошло раньше, чем я решил, куда его вести. Плечи налились чужой тяжестью, будто в рукава залили свинец. Передняя лапа его пришла сверху вниз, и я взял её голыми руками — левой под сгиб, правой поверх, ладонью с ожогом, — и отвёл в сторону, и клыки прошли мимо, у самого моего уха, и щёлкнули впустую.

Я держал живое, которое тяжелее меня, и оно не могло меня опрокинуть.

Оставалось довести. Взять от бедра, развернуться и положить его на кладку — я так валил его на пустоши... нет, не его, тренировку я помню, плита, спина прямая, поворот от ноги.

Я стал доводить.

Спину взяло наискось, от пояса к левой лопатке — там, где жгло третий день. Взяло именно тогда, когда я начал разгибаться. Тело не разогнулось — оно встало на середине, как встаёт вдох.

Лапа вышла из захвата.

Она пошла вниз и на себя, и когти прошли по правому предплечью поверх перевязи, три полосы, параллельно, одна к одной. Перевязь разъехалась и повисла.

Вожак отскочил на два шага и стал, боком, и повёл головой по мне — сверху вниз, от лица к рукам, как то, первое, вело по цепи на пустоши.

Сзади Кузьма щёлкал переломленным дробовиком и кричал, что порох у него под ногой.

Сажин встал не сразу — с досок на локте, потом на колено, кол подобрал за середину — и пошёл мимо вожака, вбок. Там, у самой доски, ещё возилась подраненная, которую я перед тем достал под последнее ребро. Она подтягивалась передними и не могла собрать задние.

— Голову держи! — сказал он в пустоту, никому.

Держать было некому. Он наступил ей сапогом с проволокой на шею, за ушами, и всадил кол сверху в основание черепа, и налёг обеими руками, и его качнуло. Кол вошёл на две ладони. Она ещё раз выбросила лапу и стала.

— Тут мягко, — сказал Сажин и вытянул кол. — На два пальца за ушами.

Вожак развернулся ко мне.

Головой он тряхнул, будто вытряхивал воду. Бросок мой ничего ему не сломал, только сбил с места, и он повёл плечом, примериваясь заново. Я стоял, разогнувшись до середины, и знал, что дальше тело не пойдёт. Спина держала меня в этом углу.

Он присел на задние.

И тогда со двора, слева, через открытое место побежал Сивоок.

Бежал он низко, нож в левой, полы разошлись. О ноже я не подумал, подумал другое: он на восточном, я его сам туда поставил на ночь, и у Сеньки там теперь никого.

— Данила Гаврилыч! — крикнул Митяй с помоста. — У нас пусто с восточного!

— Пусто, — сказал Сивоок и не остановился.

Сверху бить он не стал. Прошёл жожаку под лапу, у самой земли, и повёл ножом вдоль бока, от бедра вперёд, вспарывая. Пластина там кончалась. Нож пошёл ровно и вышел.

Жожа повернул голову к нему, не ко мне. Развернулся всей передней частью, и то, что он собирал для прыжка, ушло в разворот.

Бросать я больше не пробовал — упал на него сверху, всем весом, как падаешь на дверь, которую нельзя дать закрыть. Левой прижал шею к земле у стига, правой упёрся в лопатку, а колено загнал ему под переднюю, за сустав, и продавил.

В спине опять рвануло, горячо, и потянуло к поясу. Вдох встал на середине и не пошёл дальше. Я дожимал на том воздухе, который во мне уже был, и считал его толчки. Он подкинул меня, я съехал на палец и сел обратно. Подкинул опять.

— Держу, — сказал я в шкуру. — Хорь.

— Иду, — сказал Ерофей.

От бочек он шёл с топором в правой, с тем самым, с зазубриной. Шёл ровно, не спеша, стал сбоку, посмотрел, куда бить, и обошёл на полшага.

— Голову ниже дави, — сказал он.

— Бей.

— Я вам сейчас руку срублю.

— Бей!

Ударил он в шею, за пластину, сверху вниз, и второй раз в то же место, и на втором из-под лезвия пошло тёмное, широко, мне на кисть, и оно было горячее. Толчки под мной укоротились и ушли, и под ладонью только шкура тянулась сама по себе.

Я не встал. Лежал на нём и слушал, как в спине что-то ищет положение.

— Юрий Аркадьевич, — сказал Сивоок сверху. Он обтирал нож о полу. — Живой?

— Стая.

Он поднял голову и стал смотреть на пустошь. Строй у них держался до этой минуты — шли ровно, шаг в шаг. Теперь его не стало. Одна пошла назад, вторая свернула ей поперёк дороги, они стукнулись боками — и рассыпались все три, каждая в свою сторону.

Одна пошла вдоль частокола, у самых кольев.

— Кузьма! — крикнул Тимофей.

— Да я его нашёл! — сказал Кузьма. — Я его под ногой нашёл, он в щелке!

Дробовик у него хлопнул, когда закрылся. Он стрелял с одной руки — левое плечо у него не поднимается, — положил ствол на верхний кол и выстрелил шагов с двенадцати. Тварь села на задние, прошла так ещё немного и завалилась у третьего кола, где висит банка.

Остальные две уходили на цеха, к разбитым пролётам, и шли не вместе.

Ерофей стоял над жожаком и смотрел на его пластину, а рука у него полезла под ватник, к поясу, потрогала там что-то и вышла.

Считать стали не сразу. Сначала все стояли, где стояли, и солнце било сверху, и тени под кольями были короткие.

Убитый был один. Тот, что стоял на восточном вторым, из людей Сивоока, — его придавило в проломе, между досок и второго кола, и когда Митяй с Ковригиным оттащили тварь за задние, он уже не дышал. Пока туда добежали, прошло, я думаю, счётов двадцать.

— Он свистел, — сказал Митяй. — Я слышал, он свистел два раза.

— Три надо, — сказал Сивоок.

— Он два просвистел, я и пошёл.

— Три надо было.

Раненых было двое. Одному располосовало предплечье вдоль, и Аглая шила его тут же, у частокола, посадив на бочку и положив руку себе на колено. Иглу она держала двумя пальцами и брала стежки короткие и частые. Второй сидел у кладки, дышал часто и мелко, но говорил, что ребро целое.

— Дышите глубже, — сказала Аглая, не глядя на него.

— Не идёт глубже.

— Значит, не целое.

Тимофей обошёл весь частокол и вернулся к пролому. Досок вышибло три, средняя треснула вдоль, и кол у самой земли вывернуло вместе с кирпичом.

— До темноты, — сказал он. — Шесть часов, и не меньше. Заделаем — стоим. Не заделаем — они тут ночью пройдут, как в ворота, и свистеть будет некому.

— Тимофей Игнатьевич, у меня портянка одна, — сказал Сажин. Он стоял над второй тварью, у третьего кола, и бил её ломом сверху вниз, не оборачиваясь. — Я в ней доски таскать не буду.

— Будешь.

— Проволока вбок села.

— Перемотаешь.

— Патронов сколько осталось? — спросил я.

— Два на оба ружья, — сказал Тимофей. — И два — дробовику. Чтоб никто больше в воздух не палил.

Аглая закончила шов, обтёрла иглу и пошла к жожаку. Нож попросила у Тимофея — свой у неё маленький, — и он подал рукоятку вперёд.

Шкуру она резала по хребту, от загривка книзу, короткими движениями. Отвернула лоскут в две ладони.

Под шкурой была пластина, как мы и думали. А под пластиной, между лопаток, лежал короб.

Величиной с ладонь, плоский, в тёмной окиси, с закруглёнными углами, и мясо вокруг него обросло старым белым рубцом. От короба вниз, под пластину, шли две тонкие проволоочки, и на конце их сидело что-то мелкое, гранёное.

— Не трогай пальцем, — сказал я.

— Я не пальцем.

Она подрезала мясо кругом и вынула его целиком, вместе с проволочками и с тем, что на конце. Положила на доску, обтёрла руки о полу халата и посмотрела на рубец, откуда его взяла.

— Ни одна мутация из тех, что я видела, такого не делает, — сказала она. — Ни здесь, ни в медпункте. Это ставили руками. Разрезали, вложили и зашили, и оно у неё зажило. Это не Зона.

Тряпицу она достала свою, завернула в неё короб и подала мне.

Я взял его левой. Весил он мало, а через тряпицу отдавал холодом, хотя туша ещё парила.

И внутри, справа от сердца, что-то повернулось — так поворачивают голову, когда за спиной слышат знакомое имя. Холодное, чужое, и смотрело оно моими глазами — вниз, в тряпицу, на гранёное.

Я стоял и ждал, скажет ли оно ещё что-нибудь. Не сказало.

— Значит, так, — сказал Тимофей. Он не дал мне открыть рот. — На человеке из литейного — клеймо. На векшинском — клеймо. На этих — клеймо и вот это железо. Одна рука ставила. И ставит она недалеко, иначе они бы к нам строем не дошли.

— Строем, — сказал Сивоок. — Строй из тени, вот это мне и не нравится. Кто их так выучил?

Ерофей отошёл в сторону и глядел на восточный край. Потом на того, кто там стоял, — долго. Тот отвернулся и стал поднимать доску.

— Хорь, ты чего? — сказал Сивоок.

— Ничего, — сказал Ерофей не сразу. — Кладку гляжу.

Аглая перевязала тряпицу вторым узлом.

— Игнату шесть дней, — сказала она мне. — Было семь. Если он раньше встанет, будет девять.

За стеной звенело в жестянку — редко, но не переставая.

— Гвозди в жестянке, — сказал Тимофей. — Кузьма, ты после полудня выходишь или нет?

— Я выхожу.

— Тогда бери доски и до выхода таскай.

Сажин доски не взял, а стоял, повернувшись к цехам, — туда, куда ушли те две.

Над третьим пролётом поднимался дым. Сизый, тонкий, и шёл столбом. Пожар идёт грязно и рывками, а этот стоял, как из трубы.

— Три дня назад такой же был, — сказал Сажин, тихо, и не обернулся. — С утра. А к вечеру мы в цеху первую нашли.

Глава 6. Метка под кожей

С рассвета туши лежали там, где легли, — у частокола, поперёк вчерашнего пролома, и за ночь их не тронул никто. Дымком от цехов пахло вечером, а к утру его выдуло начисто. По дороге я дважды нюхал воздух и на второй раз поймал себя на этом.

Аглая пришла раньше меня. Она стояла на коленях у второй, у той, которую Сажин добил колом за ушами, и раскладывала на доске свои вещи: нож Тимофея, обломок стекла Прохора — тот, что она обточила о кирпич и носила за пазухой, — и тряпку.

— Вожака вы уже смотрели, — сказал я.

— Вожака я смотрела. Теперь эту. — Она подсунула доску ближе. — Если у одной так, а у другой иначе, то это одно. Если у обеих одинаково — совсем другое. Я потому и режу вторую, а не рассказываю вам про первую по второму разу.

Резала она по хребту, от загривка вниз, короткими движениями, как шила. Нож брала в правую руку, стекло держала в левой и меняла их, не поднимая головы.

— Юрий Аркадьевич, — сказал Митяй сзади. Он стоял с ломом, приставив его к ноге, и ждал уже давно. — Шкуру-то не порежьте всю. Шкура семь рублей.

— Шесть, — сказал я. — Битая — шесть.

— Ипат за целую семь давал.

— Митяй.

— Я к тому, что нам за неё крупы дадут. У нас крупы нет. — Он потрогал лом. — Я не спорю, я говорю: резать надо от края.

Аглая резала посередине.

Она отвернула лоскут, и под ним пошла пластина — узкая, вдвое уже, чем у вожака, и по краю без зубцов. Аглая обвела её стеклом кругом и поддела.

Короб был и тут. Только меньше — не с ладонь, а с полладони, и плоский, и в той же тёмной окиси.

— Держите, — сказала она и подала мне его на стекле, как на лопатке.

Я взял его левой рукой — он был легче того, первого. Я повернул его к свету и стал искать проволоочки. Проволочек не было — были два гнезда, две дырки с завальцованным краем, и в них пусто.

— Тут ничего нет, — сказал я.

— Посмотрите ещё раз.

— Я смотрю. Дырки есть, а того, гранёного, нет. И проволочек нет.

— Значит, у неё и не было, — сказала Аглая. Она вытерла стекло о тряпку. — Или было, да вынули. Я скажу, что вынули, если увижу, где резали. Пока не вижу.

Митяй переступил и заглянул через мою руку.

— Пустая, — сказал он. — Так, может, это и не то самое.

— Это то самое, — сказала Аглая. — Гнездо то же. Ободок тот же.

Она нагнулась и отвернула шкуру дальше, на всю ширину лопаток, и повернула её мездрой вверх.

— Вот сюда смотрите.

Я присел на корточки, но спину под левой лопаткой сразу взяло, и я сел на щепень.

По изнанке шкуры, там, где короб держался в мясе, шёл шов. Не рана. Белая полоса в палец шириной, гладкая, и от неё в стороны — точки, редкие, через равные промежутки. Так зарастает на человеке к третьему месяцу, если зашивали хорошо.

— Это старое, — сказал я.

— Это очень старое. — Она провела по полосе обломанным ногтем. — Здесь резали, потом зашивали, потом это заживало, и заживало не два дня и не неделю. У вожака такой же,

я вам его показывала, вы на короб смотрели, не на рубец. Их вскрывали и зашивали задолго до того, как они сюда пришли. Не здесь.

Митяй сказал:

— В Зоне не зашивают.

— В Зоне не зашивают, — сказала Аглая, — и в Зоне не заживает так ровно.

Митяй ещё постоял, поднял лом и пошёл к пролому, и уже от досок крикнул, что если шкуру всё равно порежут, он тогда клыки возьмёт, потому что клык рубль двадцать, а битый шестьдесят копеек, и битых он не понесёт.

Я держал короб на ладони и смотрел в его пустые гнёзда.

И внутри, справа от сердца, отозвалось — коротко и холодно. Так узнают вещь, которую держали в руках когда-то и в другом месте: рука узнаёт раньше головы.

«Что это», — сказал я про себя.

Стало тихо — как в цехе, когда гул выключают, и первую минуту глохнешь от того, что его нет.

Аглая помыла руки над ведром, хотя воды у нас всего на день, и потёрла их дольше, чем надо.

Потом она вытерла ладони о полу халата и сказала, что говорить будем в бараке: у неё там Игнат, и она от него дальше двух шагов не пойдёт.

В бараке я положил короб на стол, а рядом положил гранёное — то мелкое, что сидело на концах проволочек, — и три лоскута, клеймами вверх, как лежали вчера. Стол качнулся, потому что угол его сидит на кирпиче. Тимофей подбил кирпич ногой, не глядя на меня, и тут же полез проверять проволоку на ножке — свою же, вчерашнюю.

— Рубцы старые, — сказал я. — На обоих. Резали, зашивали, и заживало месяца три. Аглая Ильинична говорит — не здесь.

— Я говорю — не здесь, — сказала Аглая от угла. Она сидела на корточках у Игната и разматывала лубок. — И у жоака такой же.

— Значит, где-то их держали, — сказал Тимофей. — В тепле, под руками, с иглой и с ниткой. — Он выпрямился и повернулся на левой пятке, потому что колено у него не гнётся. — Тогда я спрошу то, о чём тут все думают, а вслух никто не сказал. Если их шьют в цехах — нам туда лезть? Или нам отгородиться и сидеть? Оно ведь и само со временем может иссякнуть. Ставят их не бесплатно, кто-то на них тратится. Кончатся у него нитки — кончатся и они.

— Тимофей Игнатьевич, — сказал Игнат из угла, — ты левый край поставил или нет?

— Поставил.

— Ты доску поставил, а гвоздь один.

— Лежи.

Сажин стоял у кладки, у самого проёма, и держал кол под мышкой. Он заговорил раньше, чем я успел ответить Тимофею, а ведь он всегда говорил после.

— Не иссякнет, — сказал он.

— Ты откуда знаешь?

— Я там был. — Он подвинул обмотку на коле ниже и опять её потрогал. — Три дня назад, когда мы с боем ходили. Вы с Игнатом Петровичем у бечёвки стояли, а я прошёл до обвала, за литейный. Там кладка легла поперёк и завалила спуск, а за ней пусто, и оттуда шло гулом.

— Ветер там шёл, — сказал Тимофей. — В трубах всегда шумит.

— Ветер шумит неровно, — сказал Сажин. — А там било ровно, через одинаковое время. Как насос. Я стоял и слушал, сколько мог, и оно ни разу не сбилось.

— Ты мне этого тогда не сказал.

— Я тогда про железо думал, — сказал Сажин. — Я и про тех, что в тени стояли, тогда не сказал.

Тимофей сел на койку, вытянув правую ногу.

— Ну шумит. Мне-то что. Мне частокол до темноты, а у меня восемнадцать гвоздей, из них восемь гнутых.

Сивоок до этой минуты не сказал ничего. Он стоял у стола и лоскуты не трогал, только раз простучал костяшками по рукояти ножа. Теперь он их зачем-то подровнял — все три, ногтем, встык.

— Роман дело говорит, — сказал он.

— Данила Гаврилыч, ты вчера сам предлагал спуск завалить.

— Вчера предлагал. — Он повёл плечом. — А я с тобой месяц назад через доски разговаривал и людей считал: у тебя пятеро, у меня двенадцать. Я тогда сидел и ждал, пока ты первый выйдешь. И вышел ты, а не я, и оттого я теперь у тебя кормлюсь, а не ты у меня. — Он посмотрел не на меня, а на мою руку с ожогом.

— У тебя двадцать восемь человек, — сказал я.

— Двадцать семь. Одного вчера в проломе задавило.

Я крутил гранёное в левой ладони и не мог остановиться. Правая пятый день не жмёт, и мне всё казалось, что я его сейчас уроню — левой, здоровой. Отгородиться: доски, кирпич, шесть часов до темноты, и ждать, пока у кого-то там кончатся нитки. У Аглаи одна игла и ниток на два шва, а у того, кто это шил, они не кончились за три месяца. Значит, и за четвёртый не кончатся.

— Идём, — сказал я. — Не штурмом. Смотреть.

— Смотреть — это сколько людей? — сказал Сивоок.

— Трое. Верхом по завалу, до самого спуска и назад. В спуск не лезть, бечёвку с колышком натянуть выше. Если оттуда пойдёт — уходить сразу.

— Кто ведёт?

— Сажин.

Сажин перехватил кол за середину и промолчал.

— Игнат не ходок, — сказал Тимофей. — Шесть дней ему.

— Пять, — сказала Аглая из угла. — С нынешним пять. И он у меня к проёму ползёт третий раз.

— Юрий Аркадьевич! — сказал Игнат. — Я тропу топтал. Я её осенью топтал, там на завале второй камень качается, кто не знает — сядет.

— Роман, — сказал я. — Про камень слышал?

— Слышал.

— Портянка у него одна, — сказал Тимофей. — Он мне про неё второй день говорит.

— Проволоку перемотаю, — сказал Сажин.

Он сказал это в пол, и я пошёл в дальний угол.

Игнат лежал у глухой стены, на носилках из двух жердей и холстины, и одну жердь Аглая подпёрла кирпичом, чтобы носилки не качались. Голову он держал набок, к проходу. Он услышал меня раньше, чем увидел: я хожу теперь плашмя, всей ступнёй.

— Сколько? — сказал он.

— Что сколько.

— Вчера. Сколько положили.

Я взял от стены перевёрнутый ящик и поставил его у носилок. Садиться пришлось долго. Спину потянуло от пояса к левой лопатке, и вдох на середине упёрся.

— Один, — сказал я. — Сивоока человек. Второй на восточном стоял.

— Кто.

— Не знаю.

Он посмотрел в потолок. Там над ним был лист кровли и два гвоздя из четырёх, и я это место третий месяц знаю. Он молчал долго — за стеной кран капнул трижды.

— Ковригин? — сказал он.

— Ковригин на помосте. Тот, что вторым стоял. Он свистел два раза.

— Три надо.

— Так и Сивоок сказал.

Игнат подвигал плечами под холстиной и опять устроил голову набок.

— У них своих не считают вслух, — сказал он. — Они по-своему считают, потом.

Снаружи Тимофей крикнул Кузьме, чтоб брал доску от бревна, а не верхнюю, потому что верхняя треснула вдоль, и Кузьма ответил, что он её и не брал. Я подождал, пока они кончат.

— Пост я ставил, — сказал я. — Утром, второпях. Восточный край после ремонта на две ладони ниже, туда двоих надо было и лишнюю доску. А доску ставить некому. Ты лежишь.

— Ну.

— Крайний угол у бочек — тот, о котором ты кричал, — держал один гвоздь. Твоя доска, ты её сам ставил, ты сам и говорил. Я это знал и человека туда не поставил. Значит, вышло не само.

Он повернул голову ко мне целиком.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — Ты мне это зачем говоришь.

— Тебе не говорю. Я говорю, как было.

— А выходит, что мне. — Он поморщился и подтянул руку под лубок, к колену. — Вина есть, ладно. Кто её оплачивать будет? Мне её взять нечем, я третий день до проёма не доползаю. Тебе — тоже нечем, ты стоишь-то на одном боку. Вина — вещь господская, её при деньгах носят. У нас тут не носят.

— Человек лежит в щёбне.

— Он там и будет лежать, сколько ни сиди на ящике. — Он перевёл дух и сказал тише: — Иди в цеха, слышишь? Или не иди, а решай. С лежачим у тебя разговор дешёвый, лежачий тебе всё простит, ему деваться некуда.

Я сидел и крутил гранёное в левой ладони, потому что правая пятый день не жмёт и я боялся его уронить.

— Пеньку никто не намотал, — сказал Игнат. — Восьмые сутки капает. Я тут лежу и считаю. Три счёта — капля, ровно.

— Девятые.

— Пусть девятые.

Аглая подошла со стороны прохода. Кружка была одна, Прохорова, с отбитым краем, и Аглая держала её у самого дна. Налила до половины, не больше, и подала не мне: поставила Игнату на грудь и придержала.

— Пейте.

Игнат поднял голову и выпил в три глотка, с остановками.

— Вы это слышали, — сказала она мне. — Про лежачего.

— Слышал.

— Тогда и это слушайте. — Она забрала кружку и повернула её отбитым краем к себе. — Канистра одна, в ней меньше половины. Я беру воду на швы и на промывку — это не питьё, но уходит из той же канистры. Если ваши трое уйдут и вернутся к вечеру — мы стоим. Если задержатся больше двух дней, я буду разливать не по кружкам, а по глоткам. Считанным. И первым отниму у него, потому что он лежит и не потеет.

— Ты сперва у Кузьмы отними, он говорит больше всех, — сказал Игнат.

— У Кузьмы отниму вторым.

Она обтёрла ладони о полу халата, хотя ничего, кроме кружки, не трогала, и понесла её к кирпичу.

Сажина я нашёл у ворот. Он уже стоял с ломом под правой рукой и щурился в сторону цехов.

— Двоих сам выбери, — сказал я.

— Выбрал. — Он не повернулся. — Дым стоит.

— Стоит.

— Значит, топят. — Он подвигал ломом, перехватил его ближе к середине. — Юрий Аркадьевич, я до литейного дойду и стану. Дальше — как оно там.

— Два дня. Не вернётесь к вечеру второго — я пойду сам.

— Ты не пойдёшь, ты на одном боку стоишь.

— Два дня.

— Понял.

Двое, которых он взял, были из наших: тот с порезанным предплечьем и тот, что ушибся ребром. Аглая на них посмотрела от бочек и ничего не сказала, только пошла мыть руки.

Они вышли и пошли по пустоши на отвал, не гуськом, а вразброс, шагов по восемь друг от друга — так им Сажин велел ещё во дворе. Я стоял у створки, пока они не ушли за гребень, и считал. Дошёл до шестидесяти с чем-то и сбился на боли в спине.

У пролома Ерофей заводил новую доску в кладку. Топор он положил рядом, обухом к себе, и подбивал доску ладонью, снизу вверх, примеряя, где она сядет.

— Кривая, — сказал он мне, не поднимая головы. — Другой нет. Эта хоть по толщине.

— Ставь.

— Ставлю. Только гвоздей два.

— Тимофей даст ещё.

— Тимофей Игнатьевич даст, а в жестянке восемь, и все гнутые.

Я пошёл к бочкам, к канистре, — воду надо было делить. На половине двора я обернулся — не на Ерофея, а на помост, где доска играла. Ерофей в это время отошёл от пролома к восточному краю, туда, где сменялись.

Тот, что сменялся, был из пришедших с Сивооком, и имени его я не знал. Ерофей взял его под локоть, отвёл на три шага за кол, к самому углу, где кладка выше человека, и стал говорить ему в лицо, тихо, и один раз оглянулся через плечо. Рука его пошла под ватник, к поясу, как ходила третий день, и вышла обратно, но я не разглядел, что в ней было — что-то небольшое, в тряпье.

Парень слушал, кивнул один раз и убрал руку за пазуху, не поглядев, что взял.

Я подумал: Хорь на восточном обещал кладку глядеть, вот и глядит. И пошёл дальше, потому что Тимофей уже стоял у канистры с кружкой и ждал меня, чтобы при мне отмерить.

— По половине, — сказал он. — Считал трижды. На двадцать четыре человека — по половине, и на швы Аглае останется на палец.

— Двадцать четыре.

— Трое ушли. Один в щёбне.

Он налил первую кружку и подал не мне.

Парня с восточного я больше не видел. Он ушёл до полудня, тропой к Балке, и мне про это сказали только к вечеру, когда я спросил, кто стоит на восточном втором. Сказали — сменился и пошёл, у него отгул с той ночи. Я тогда стоял у пролома и щупал левой рукой доску, которую Ерофей завёл кривую, и щупал долго, потому что наклоняться было нельзя.

Перед вечером я пошёл кругом. Спина не давала разогнуться, и я шёл, ставя ступню плашмя, и через каждые несколько шагов останавливался, чтобы дать вдоху пройти до конца.

У восточного поста тот, что остался, отвернулся от меня и поднял руку.

— Юрий Аркадьевич.

— Что.

— Вон там. За Балкой, за грядой. — Он не показывал пальцем, а держал руку ребром. — Стоит.

Я посмотрел вдоль его руки. На самом краю гряды стоял человек. Отсюда он был меньше гвоздя.

— Может, ходок, — сказал я.

— Ходок идёт.

— Смотри дальше.

Мы смотрели, но он не двинулся ни на шаг — ни к нам, ни от нас. Я считал вдохи, а вдох у меня короткий, и счёт шёл вразнобой, на шестидесяти я бросил и стал считать капли, падавшие из-за стены.

Капель было восемь или девять, когда он ушёл за грядку.

Глава 7. Человек без оружия

Крик я услышал сквозь сон и принял за свист.

— Стой, назовись!

Тимофей кричал от груди, в пролёт. Я лежал у стола, головой на ящике, и, пока садился, успел подумать, что за стеной опять капает, и что я так и не намотал пеньку.

Садиться пришлось в два приёма: спину потянуло вкось, и вдох застрял. Куртку накинул поверх рубы, не в рукав, — правой в темноте рукава не найти.

— Куда вы? — сказала Аглая из угла. Она не встала.

— К восточному.

— Игнат просил проём. Я его не пустила.

— Знаю.

Шёл я всей ступнёй и на повороте у бочек постоял. Угли под жестянойкой ещё тлели, рыжие, и от них видно было шагов на пять.

Тимофей стоял у лаза в частоколе, держа руку поднятой в сторону поста, ладонью назад. Парень на помосте не свистел.

— Я ему руку поднял, — сказал Тимофей, не оборачиваясь. — Он уж губы сложил. Свистнешь — те, кто с ним, знают, где мы стоим и сколько нас.

— Один он?

— Оно и есть вопрос. Человек без оружия ночью один не ходит.

Из темноты, с тропы, ответили.

— Один я. Оружия наперевес нет. Влас, с Тихой Балки.

— Стой, где стоишь.

— Стою.

Он и стоял — там, где Тимофей велел, шагах в двенадцати за лазом, и обе руки держал на уровне плеч, ладонями к нам. Ходок руки роняет, устаёт держать. Этот держал.

— Влас, — сказал Тимофей. — Из каких Власов? Я Балку знаю, у Марфы стоял.

— Дело у меня не к кому попало. К тому, кто держит Форпост.

— К нему и говоришь.

— Я говорю в доски.

Митяй подошёл от пролома с ломом под мышкой и сразу заглянул мне через плечо.

— Юрий Аркадьевич, я не про это, — сказал он, — но шкуры-то мокнут. Я их на кладку положил, а роса села, они мокнут. Битая — шесть, а мокрая и шести не даст.

— Митяй.

— Я к тому, что утром переложить надо.

— Стой у пролома.

— Так я и стою.

Он отступил на два шага и встал там, где ему было видно.

Сивоок пришёл с тропы сам, с той стороны. Нож он держал в левой руке, у бедра, рукоятку вниз.

— Один, — сказал он мне. — Точно один. Я прошёл до второй ямы. Ни коня, ни телеги, и отпечатков позади него нет, а он свои по пыли натоптал, я по ним и шёл.

— Далеко ходил?

— Полсотни шагов туда, полсотни обратно. Дальше в темноте одно только мнится.

— Патроны, — сказал Тимофей. — Два на ружьё, два на дробовик. Я их на ту тень тратить не дам. Если это разведчик — берём живым и спрашиваем. Если беда — так лучше сейчас, пока она не подошла на нож.

— Веди его к углям.

— Один пойдёт?

— Пусть идёт медленно.

Тимофей опять поднял голос:

— Иди на огонь. Медленно. Руки как держал, так и держи.

Пошёл он небыстро, но ногу ставил твёрдо. У углей я его разглядел: немолодой, жилистый, лицо сухое. Полушубок дублённый, в такую ночь в нём жарко. Через плечо кожаная сумка, ремень на ней надвязан. За поясом рукоять ножа, на виду.

— Нож, — сказал я.

Нож он вынул двумя пальцами за рукоять, нагнулся и положил на кирпич.

— И сумку.

— В сумке бумага и сухарь.

— Положи и её.

Положил.

— Я не от Марфы напрямую, — сказал он. — По цепочке. Люди Балки передали, а дело у меня своё, личное, к тому, кто держит корпус. — Он посмотрел на мою правую руку, на перевязь, потом на угли. — Через доски о таком не говорят. По-человечески надо, при огне.

— Хорь! — сказал Тимофей. — Иди сюда, посидишь.

Ерофей подошёл от пролома с топором и стал так, чтобы огонь был между ним и Власом.

— Заходи, — сказал я. — Сядешь тут, при них.

Через кирпич со своим ножом он перешагнул и в барак пошёл первым.

Внутри Аглая зажгла огарок и поставила его на стол, на банку. Стол качнулся, Тимофей поддал кирпич сапогом.

Влас снял полушубок: в бараке к ночи было душно — двадцать четыре человека дышали тут весь день, и от бочек тянуло гарью. Встряхнул, повесил на спинку койки изнанкой наружу и остался в рубаше с закатанными по локоть рукавами. Потом сел на ящик у стола и положил обе руки на доски, ладонями вниз, враспырку.

— Так, — сказал он. — Смотрите, если надо.

— Мне не надо, — сказал Тимофей.

— Мне тоже не надо было, когда я так делал первый раз. — Он рук не убрал. — Тот, к кому я тогда пришёл, велел мне снять всё до пояса. Я снял.

Говорил он не спеша, останавливаясь на середине.

— Ношу я через кордон вести и мелкий товар. Не пудами — что за пазуху сядет. Восьмой год уже. Балку знаю лучше своего дома, у меня и дома-то нет, а Балку я по темноте прохожу без огня, от бани до второго крана двести двадцать шагов, если по хвое, а по накату двести сорок. Хожу окольными: где решётки варили, там между вторым и третьим столбом ручей идёт под насыпь трубой, в трубе не встанешь, но на боку пройдёшь.

— Труба, — сказал Тимофей.

— Труба.

— А ты её сейчас назвал при семи человеках.

— Назвал.

— Зачем?

— Затем, что вы её всё равно не найдёте, — сказал Влас и первый раз двинул рукой: подобрал большой палец к ладони и опять положил его как было. — Я не про то говорю, где она, я про то, что я не с гряды пришёл поглядеть, как вы тут живёте.

Аглая стояла у стола и сушила руки о полу халата. Она их вымыла, пока он говорил: воды в кружку налила на два пальца и вымыла.

— Несколько дней назад, — сказал Влас, — вышел ко мне человек. Не сам вышел, а через знакомых, через трёх, — я четвёртым стал. Назвался доброжелателем. Имени не сказал,

чина тоже не сказал. Просил найти способ передать весть тому, кто выжил у обслуживающего корпуса и держит там оборону.

— Слово в слово так? — спросил я.

— Слово в слово. И место описал: северный торец, цистерна за бетонным ограждением, барак у неё. И добавил, что про эту силу говорят даже мародёры и считаются с ней.

Левую руку Тимофей тяжело положил на дощечку с ведомостью.

— С чего мы тебе верить должны? — сказал он.

— Да ни с чего.

— Ты у Балки на побегушках. Ты сам сказал — люди Балки передали. А люди Балки — это Марфа Петровна. Она нас на курсе обвела, при нас же, на дощечке, и мы это дважды считали. — Он повернулся на левой пятке, чтоб смотреть на Власа прямо. — Теперь через её людей к нам приходит человек и говорит про столицу. А в столице про нас знать некому: мы там списком похоронены, все, я в том списке тоже. Кто может знать про Форпост? Тот, кто нас в список вписал. Департамент. И если Департаменту надо вытащить отсюда свидетелей, то он не пойдёт колонной. Он пришлёт одного, с сухарём в сумке, — чтобы мы сами вылезли и сами руку подали.

— Тимофей Игнатьевич, — сказала Аглая от стола.

— Что.

— Дайте ему сказать. Вы уже второй раз про список.

— Я про список буду и в третий раз.

Влас повёл плечами и подождал.

— Мне велено передать, если спросят, — сказал он тихо. — Он не с кордона и Департаменту не служит. Он скорее прячется от того же, от чего у вас тут прячутся.

— Складно, — сказал Тимофей.

— Складно, — согласился Влас. — Мне за складность и платят.

Ерофей у стены слушал и глядел на полушубок, что висел изнанкой наружу. Один раз он подался к нему, потом встал на место.

Я взял с доски гранёное и переложил из левой в левую же руку, потому что правая не берёт. Спина держала меня в одном углу, и я сидел, не разгибаясь до конца.

— Часто ходить можешь? — спросил я.

— К вам?

— Туда и обратно.

Он подумал.

— От меня до кордона — сутки. От кордона до города — там не я несу. Полный оборот, туда и ответ назад: дней двенадцать, если гладко. Пятнадцать, если у переезда стоят и проверяют. Больше пятнадцати не бывало, меньше десяти тоже не бывало.

— Чего хотят взамен?

— Эта передача оплачена, — сказал он. — Вперёд и полностью, я с него взял и больше не спрошу. Дальше — своя цена. Денег я с вас не возьму, у вас их нет. — Он посмотрел на дощечку под рукой Тимофея, на пустую канистру у стены. — Мне надо долю с того, что вы в Зоне подымаете. Минералы. И сведения — что тут попадается на пути: где вода стала негодной, где марево встало поперёк, что за зверь пошёл и с чем.

— Долю — какую? — сказал Тимофей.

— Об этом сговоримся, когда будет с чего делить. Я вижу, что у вас крупы нет.

— Крупы нет, — сказал Тимофей. — Проволоки нет. Гвоздей восемнадцать, восемь гнутых.

— Вот и я говорю: сговоримся потом.

Он снял руки со стола и сложил их на коленях.

— Отвечать сейчас не надо, — сказал он. — Весть до утра подождёт, она у меня на бумаге. Хотите — думайте до света. Я тут у бочек сяду, вы мне человека приставьте, я не против.

— Приставим, — сказал Тимофей.

— И воды не надо, у меня своя.

Аглая посмотрела на него.

— У вас фляга?

— Фляга.

— Полная?

— На треть.

— Тогда сидите со своей, — сказала она. — У нас на всех по глотку.

За стеной кран капнул три раза, и Игнат из дальнего угла сказал в потолок, что девятые сутки, и что пеньку так никто и не намотал.

Влас снял полушубок со спинки и встал.

— Я снаружи, — сказал он. — В четырёх стенах при чужом разговоре сидеть — себе дороже.

Он вышел.

Створка ещё не стукнула, а Тимофей уже поднялся.

— Нет, — сказал он.

Он дошёл до двери, поглядел в неё, вернулся к столу и стукнул по нему костяшками — один раз.

— Ты вспомни, — сказал он, — какой чужой канал у нас был, чтоб он нам не стоил. Марфа. Марфа держала курс с запасом, и мы у неё шесть дней жили на её крупе, а потом ей отдавали по её же цене. Тридцать пять — и пятнадцать сверху за просрочку. Это она нам разве не в убыток была? — Стук. — Векшин у брода. Про Векшина нам сказали, что он у брода стоит, и мы пошли смотреть, и Прохор теперь лежит у частокола. Это чей канал был?

— Никто нам этого не говорил, — сказал я. — Мы сами пошли.

— Пошли по слуху. — Стук. — И до того всё по слуху. У брода по слуху, за курсом по слуху. — Он опять пошёл к двери. — А тут бумага без подписи. Без подписи, Юрий Аркадьевич. А значит, тот, кто её писал, за неё и не отвечает. С Марфы я хоть спросить мог, у неё дверь на петле и коза за баней.

Данила Сивоок вошёл с обхода на этих словах, отряхнул полу, стал у стола и не сел. Смотрел он на свои сапоги и повернул носок, разглядывая намотанную проволоку.

— Марфа один раз сказала правду, — сказал я. — Про мародёров у брода. Она послала Демьяна, и Демьян сказал, где у Векшина проволока с банками и где двое в кустах. Мы туда не полезли, а если бы полезли — легли бы там все четверо.

— Она это сказала после того, как взяла с нас за курс.

— После. Но сказала.

— Ты, значит, ей это в зачёт ставишь?

— Часть в зачёт, — сказал я. — Не всё.

Тимофей стоял у двери и молчал, потом сказал, не оборачиваясь:

— С оглядкой у нас уже было. С оглядкой мы Митяя вернули живым, а мешок с инструментом отдали.

Аглая сидела у стола сбоку и держала пустую кружку с отбитым краем на коленях.

— Вы говорите, — сказала она тихо, — что не надо отвечать. А от кого мы этим спрячемся?

— Ни от кого. Просто не полезем.

— Мы уже в бумаге. Он про Форпост знает, знает, сколько нас, знает, что тут стреляли. — Она повернула кружку. — Если про нас знает и Департамент — от нашего молчания у них в списках ничего не сотрётся.

Сивоок кивнул, один раз, и опять уставился на сапоги.

— Ты чего киваешь, — сказал Тимофей.

— Ничего. — Он помолчал. — Я двенадцать лет молчал, где надо и где не надо. Меня это ни от кого не спасло.

За стеной капнуло три раза.

— Девятые сутки, — сказал Игнат из угла. — Пенька у крана как лежала, так и лежит.

— Лежи, — сказал Тимофей.

Я взял гранёное и опять переложил его в ту же левую руку.

— Отказ нам не даёт ничего, — сказал я. — Промолчим — он про нас будет знать столько же, сколько сейчас, а согласимся — узнаем то, чего не узнаем больше ни у кого. Про клеймо мне тут никто ответить так и не может. Ни Осколок, ни Аглая Ильинична. — Я посмотрел на короб. — Один раз. Пусть скажет, что в письме. Постоянного хода не открываем, доли не обещаем.

— Один раз, — сказал Тимофей.

— Один. Потом судим.

— А если письмо такое, что его прочесть — уже полдела за них сделать?

— Тогда будем знать, какое оно, — сказал я. — А то опять к Марфе идти и в долг просить, и она нам это вспомнит.

Тимофей подошёл от двери и тронул столешницу костяшками, тише прежнего.

— Ладно, — сказал он. — Один. Но за ним посмотреть.

— За кем.

— За Власом. Как уйдёт — пусть за ним пройдут до гряды и глянут, один он идёт или его ждут. Хоть на версту. Иначе я на это слова не даю.

— Пройдут, — сказал Сивоок.

— Ты не «пройдут», ты кого пошлешь?

— Пошлю кого пошлю.

Аглая встала и понесла кружку к кирпичу.

— Крупы всё равно нет, — сказала она.

Пока я шёл до створки, Тимофей ещё что-то говорил мне в спину про версту.

Влас сидел на корточках у самого частокола, с наружной стороны, и полушубок его лежал рядом на щебне, мехом кверху. Сам он был в одной рубаше. Пальцы он тёр друг о друга — большой о указательный, — и когда я подошёл, тереть не перестал.

— Мы весть узнаем, — сказал я. — Один раз. Дальше ничего не обещаем: ни ответа, ни хода, ни людей.

— Ну да, — сказал Влас.

Поднялся, отряхнул колени и посмотрел мимо меня, во двор, где Ерофей приколачивал кривую доску обухом.

— Ты понял, что я сказал?

— Понял с первого раза. Я с первого и ждал. — Он повёл плечом. — Ты думаешь, я сейчас цену подниму. Не подниму. Дело не в цене, дело в самой вести. Мне за неё там уплачено.

— Кем.

— Вот. — Он потёр пальцами. — Ты сразу об этом.

За стеной, во дворе, Кузьма спорил с Тимофеем, что узел в две петли он второй раз не завяжет, и что мешок до Балки нести ему. Влас на голоса не обернулся. Он присел опять, положил полушубок на колено и стал отгибать подкладку у левой полы. Шов там был прошит крупно, и он его не резал — вытянул нитку в двух местах пальцами.

— Полушубок не по погоде, — сказал я.

— Не по погоде, — согласился он. — Зато в нём есть куда положить. Летом я в жилете хожу, а в жилете класть некуда, всё на виду.

Лист он вынул пожелтый, сложенный в несколько раз, до размера ладони, вошёная нитка крест-накрест, и на перехлёсте — тёмная нашлёпка.

Подал он его мне из рук в руки.

— Дальше сам решай, — сказал он. — Захочешь ответить — весть передашь через меня, в Балке, у Марфы за баней, в третий четверг. Не захочешь — молчание тоже ответ, я его пойму, и я его передам. Тогда дорогу сюда забудут, и я тоже забуду.

— В третий четверг.

— Он самый. — Влас подумал. — В факторию не заходи. Сразу за баню. У Марфы окно на двор.

Полушубок он поднял с земли, встряхнул от щебня, накинуд на одно плечо и кивнул мне коротко. Развернулся и пошёл той же тропой, откуда пришёл, вдоль канавы, забирая книзу. Разворачиваться за ним я не мог — спина не пускала, — стоял и провожал его глазами, поворачивая одну голову.

И правая рука моя сама пошла к поясу, за нож. Пальцы легли на пустое место у бедра и там сжались, и я стоял так — с письмом в левой, с пустой правой. Нож я отдал Тимофею ещё вечером, сам отдал, сам сказал: у тебя дозор, у меня рука пятый день не жмёт. Он у него и был, за поясом, я его час назад видел.

Я разжал пальцы. Нитка была шершавая, в воске, и под ногтем не скользила. Печать я повернул к небу и держал долго — искал на ней птицу с двумя головами и не нашёл: другой там был оттиск, по краю стёршийся. И думал я не про Департамент. Думал — а вдруг там про отца. Про Воронцовку. Хоть строка.

Я всё стоял, а во дворе Тимофей уже второй раз крикнул, кого послать до гряды.

В бараке огарок сел совсем — синий язычок на банке, и стены от него не видно. Читать в темноте я не стал.

И я занёс ногу через порог.

Глава 8. Весть без подписи

В бараке было так темно, что стол я нашёл бедром.

— Огарок, — сказал я.

— Огарок сел, — сказала Аглая. — Есть второй, он последний. Изведёте сейчас — я ночью Игната на ощупь смотреть буду.

— Изведу половину.

Она достала его из-за пазухи халата — огарок в палец, — сняла с банки старый, ткнула новый фитилём в чужое пламя и придержала, пока не взялось. Свет вышел рыжий, и дальше двух шагов уже ничего не видать.

— Нож, — сказал я Тимофею.

— Нож у меня.

— Знаю. Дай.

Он вынул его из-за пояса и подал плашмя, на ладони.

— Ты его вечером сам отдал.

— Отдал.

— Так и говорю. Отдал — значит, дозор мой.

— Мне нитку срезать.

Он подержал нож ещё немного, потом положил на доски и подвинул. Потом сел напротив, на койку, вытянул правую ногу и полез рукой под стол — проверять свою же проволоку на ножке. Второй день он её шупает.

Лист я положил на стол, придавил левой ладонью и повёл лезвием под нитку. Правая рука держать не стала — пальцы легли на рукоять и разошлись. Пришлось перехватить левой, а лист прижимать локтем правой, и локоть съехал, и лист поехал за ним.

— Дайте, — сказала Аглая.

— Сам.

Со второго раза нитка пошла, и воск на ней крошился под лезвием. Печать я не ломал, а срезал сбоку.

На ящик слева села Аглая и подвинула банку с огарком мне под руку. Сивоок остался у двери, вполоборота к нам, и створку держал приоткрытой на ладонь.

Лист был сложен вчетверо и разворачивался туго, по сгибам. Пожелтел он неровно — с краю темнее. Почерк мелкий, буква к букве, без завитков — так пишут накладные. Чернила выцвели пятнами: в одном месте бледно, через строку опять черно.

— Переписывали, — сказал я.

— Что.

— Набело переписывали, и не один раз. Ни одной помарки. Кто пишет с одного разу — тот черкает.

— Читай, — сказал Тимофей.

Читал я вслух и медленно: света мало, и я вёл по строке ногтем.

— «Мне известно, что у обслуживающего корпуса есть выживший и что он держит там людей. Известно не по слухам. В Департаменте лежит донесение кордонного патруля. Подано на второй неделе: движение и огонь внутри периметра, за третьим пролётом. Донесение сочли ошибкой учёта — тех, кто числится в списке погибших, не ищут — и проверять не стали. Бумага цела и лежит там же».

— Ошибка учёта, — сказал Тимофей.

— Дальше слушай.

— Я слушаю. Я это слово запомню.

— «Второе, и оно важнее первого. То, что ходит по разрушенным цехам, не природа и не порча воздуха. Это выращено намеренно и с расчётом. Отсюда и правильность в их поведении, которую вы, надо думать, уже заметили. Источник этого лежит глубже, чем вы полагаете».

Игнат из угла сказал в потолок:

— Правильность.

— Лежи.

— Я лежу. Я говорю: строй.

— «Третье, совет, и вы вправе его не брать. В средний пояс в одиночку без нужды не ходите. Там смотрят не только те, о ком вы думаете».

Аглая потёрла ладони одну о другую.

— Он про Осетрова, — сказала она.

— Он не назвал.

— Он ничего не назвал. Ни одного имени, кроме Департамента.

Лист я перевернул. На обороте было четыре строки и пустое место в полстраницы.

— «Предлагаю обмен. Вы сообщаете мне, что находите в Зоне: клейма, знаки, трофеи, всякую странность, которой не должно быть. Я сообщаю вам о Департаменте — по частям и не сразу, и только если увижу, что вам можно писать. Ответ передайте через того же человека, что принёс это. Раз в две недели, не чаще: чаще — заметят его, а через него меня».

Дальше был пробел, и в самом низу, у обреза, ещё строка, мельче:

— «Подписи не будет и обратного адреса не будет. Не потому, что не доверяю вам».

И всё. Я поднёс лист к огарку и повернул его. Ни на обороте, ни по краям, ни под сгибом — ничего.

В умывальне за стеной кран уронил каплю, другую, третью.

— Девятые сутки, — сказал Игнат.

Дверь Сивоок притянул к себе и сказал, не оборачиваясь:

— Митяй шкуры на кладку переложил. Мокрые.

— Пусть мокнут, — сказал Тимофей и ударил по столу.

Кулаком, один раз, плашмя. Огарок на банке подпрыгнул, огонёк лёг набок и чуть не сошёл на нет, и стена пропала. Потом он выпрямился, и стену стало видно опять.

— Свечка одна, Тимофей Игнатьевич, — сказала Аглая.

— Одна. — Он посмотрел на свою руку и убрал её со стола. — Я её не гасил.

— Вы её почти загасили.

— Я про то и говорю. Шкуры мокнут, кран капает, крупы нет, а мы тут читаем весть без подписи. — Он повернулся ко мне лицом. — Ты сам её прочёл, вслух, при семи человеках. Теперь я скажу, что я слышал. Он знает про донесение патруля. Не про то, что мы тут живы, — про бумагу. Что она подана на второй неделе, что её замяли и что она цела и лежит там же.

— Знает.

— А ты мне объясни, откуда доброжелателю из города знать, где что лежит в Департаменте и как это называли. Я в Департамент двенадцать лет скобы по описи сдавал и не знал, куда моя опись потом уходит. — Он загнул один палец, загнул второй. — Он либо там сидит, либо возле него сидит, либо ему оттуда носят. Третьего нет. И помощи тут никакой. Есть его дело. Мы в нём адрес.

— Тимофей Игнатьевич, — сказал Митяй от двери. Он стоял с ломом под мышкой и мешал Сивооку притворить створку. — Я шкуры-то на кладку положил, а роса. Их бы под козырёк.

— Клади под козырёк.

— Так там доски лежат веером. Я их сдвину — вы утром скажете, кто сдвинул.

— Митяй.

— Я к тому, что мокрая шкура и шести не даст.

Митяй ушёл. Сивоок притворил створку и остался у неё, а на стол так и не смотрел. Кружку Аглая держала на коленях, сбоку от меня, и отбитый край повернула к себе.

— Если это Департамент, — сказала она, — то зачем письмо.

— Затем, чтоб мы сами вылезли.

— У них есть донесение патруля. Второй недели. — Она повернула кружку. — В нём написано, где мы стоим: движение и огонь за третьим пролётом. Отряд с бляхами мог прийти к частоколу без всякой переписки, и не двое, как Осип с Федюней, — сколько надо. Нас двадцать семь, из них лежачий один, и на двадцать семь человек шесть патронов. Кого им тут выманивать. — Она подождала. — Тот, кто пишет без имени, без чина и просит не чаще раза в две недели, потому что заметят его, а через него ещё кого-то, — тот боится. Я не говорю, что он друг. Я говорю: он боится не меньше нашего.

— Боится, — сказал Тимофей. — Или пишет, что боится. Бумага не потеет.

— Не потеет.

— Вот и я говорю.

Я сидел, не разгибаясь, и крутил гранёное в левой ладони. Правая лежала на бедре и не жала. Весь вечер справа от сердца было пусто — как все девять суток, а тут отозвалось.

«Тот, кто не назвал имени бумаге, боится настолько же, насколько боится тот, кто это имя прочтёт. Твой механик не глуп. Это цена, за которую в Зоне живут ещё немного дольше».

Стало тихо, и я подождал — не будет ли дальше. Не было.

Голову я поднял и сказал вслух, как услышал:

— Кто своего имени бумаге не доверил, тот боится не меньше нашего. И Тимофей Игнатьевич не глуп. Это цена, за которую тут живут лишний день.

Тимофей открыл рот и закрыл его. Потом поглядел на меня, поглядел на лист, опять на меня, и рука его сама пошла под столешницу, к своей же вчерашней проволоке на ножке, и там осталась.

— Это ты сейчас откуда взял, — сказал он.

— Оттуда.

Он подёргал проволоку — она держала.

— Ну, — сказал он.

Аглая посмотрела на меня и смотрела дольше, чем надо было, — так она смотрела на шов, когда решала, резать или нет. Потом поставила кружку на стол, вверх дном.

— Про Осетрова он всё-таки написал, — сказала она. — Пусть не назвал.

Кран за стеной опять набрал и уронил.

— Девятые, — сказал Игнат из угла.

— Пусть девятые, — сказал Тимофей и опустился на койку, выставив правую ногу вперёд.

— Отказ нам ничего не даёт, — сказал я. — Про Форпост он уже написал. Про цистерну, про барак, про то, что мы тут стреляли. Промолчим — у него на бумаге останется то же самое, и в списке у Департамента то же самое.

— Это ты уже говорил вчера.

— Говорил. И сегодня скажу. — Гранёное я переложил в правую. — А согласимся — узнаем про клеймо. Мне про клеймо тут ответить некому. Ни ему, — я показал глазами на короб, — ни Аглае Ильиничне, ни тому, что во мне сидит. Оно сказала «работа» и больше ничего не сказала.

— И ты за одно слово откроешь ему ход.

— Не откроем. Ответ короткий. Получил — и всё. Что в Зоне попадётся — то и сообщим: где вода испортилась, где марево, какой зверь пошёл. Пусть пишет, кто ставит на людей печать и что делается в глубине. Имени я не поставлю.

— Не поставишь, — сказал Тимофей. — А кому он тогда отвечать будет?

— Тому, кто держит корпус. Он так и писал.

Тимофей помолчал и потрогал проволоку под столешницей.

— Бумаги у нас нет, — сказал он наконец. — Совсем. Дощечка одна, и на ней ведомость, я её тереть не дам.

— На обороте напишу.

— На его же листе?

— На его же.

Огарок Аглая подвинула к середине стола. Огонёк стоял ровно, а стены от него всё равно не было видно.

— Чем писать-то? — сказал Тимофей и полез за пазуху. Достал жестянку с гвоздями, потряс, поставил, полез в другой карман и вынул огрызок карандаша в полпальца, с обломанным грифелем. — На бирки берёг. Точи сам.

— Точи ты. У меня правая пятый день не жмёт.

Он вынул нож, зажал огрызок в горсти обожжёнными пальцами и стал скоблить. Скоблил долго, стружку сдувал на пол.

— Про шкуры, Юрий Аркадьевич, — сказал Митяй из прохода. Он так и не выпустил лом. — Шкуры-то. Я их с кладки снял, а куда девать — не сказали. Роса села.

— На бочку положи, мездрой кверху.

— На бочке гарь.

— Тряпку подстели.

— Тряпок нет, — сказала Аглая, не поднимая головы.

Митяй ещё постоял и ушёл, и в проходе было слышно, как он волочит лом по кирпичу.

Лист я развернул и повернул чистой стороной кверху. Писать пришлось левой рукой, придерживая бумагу правым локтем. Первая строка у меня поехала вверх, вторая пошла ровнее. Буквы выходили большие, как на бирках.

«Весть получена. Читана.

Что найдём — скажем: где вода стала негодная, где марево, какой зверь пошёл и с чем.

Взамен: про людей с печатью — кто метит и чем. И что делается в глубине.

Полного доверия нет ни у тебя, ни у меня.»

Над подписью я думал дольше, чем писал всё остальное. Потом вывел: «От того, кто держит корпус».

— Прочти вслух, — сказал Тимофей.

Я прочёл.

— Коротко, — сказал он.

— Коротко.

— И слова, что мы ему верим, тут нет.

— Нет.

Лист он взял за угол, поднёс к огарку, поглядел, хотя читал плохо, и положил обратно.

— Ладно, — сказал он. — Обязательств тут на две строки, а спросить мы у него можем много. За это я слово даю. Только понесёт не он один. — Он подумал. — Кузьма всё равно к Марфе идёт, у него просрочка. Пусть за баней и отдаст, в третий четверг. В факторию не заходить.

— Влас так и сказал.

— Значит, оба сказали.

Лист Аглая согнула по старым сгибам и намотала вощённую нитку крест-накрест, как была намотана прежде.

— Живём как жили, — сказала она. — Воды на всех по глотку.

И кран за стеной капал в жестянку.

С восточного окликнули — не свистом, голосом:

— Стой! Назовись!

— Сажин.

Письмо я взял со стола и положил обратно, на лоскуты, придавил коробом, чтоб не сдуло, и пошёл. У порога меня обогнала Аглая — она с вечера не ложилась и всё равно шла впереди.

Их было трое, как и уходило втроём. Небо за грядой уже отходило от чёрного, и я разглядел их шаги с двадцати. Сажин шёл первым, лом держал под мышкой. Гмыря отставал на полшага и ставил правую ногу коротко, будто пробуя щебень, и глянул на меня раньше, чем я успел спросить про ногу. У Гужа плечо было перемотано поверх рубахи чем-то серым, и он держал на нём ладонь.

— Все живы, — сказал Сажин.

— Вижу.

— Тогда я по порядку. — Он прищурился на меня, потом на восток, где светлело. — Цеха обжиты гуще, чем в первый раз. В первый раз мы четырёх слышали. Там их больше.

— Сколько их.

— Не считал, считать было некогда. — Он переложил лом к другому боку. — Средний ярус, в глубине, за литейным, где кладка обвалилась. Мы туда полезли, и там не одна тварь сидит, там устроено.

— Как устроено.

— Ниши в стене. Ровные, в рост, через равное расстояние. И прутья — клетки были, ржавые, половина выломана, половина стоит. Путья вязаны, а не набросаны. — Он помолчал. — Зона так не кладёт.

Тимофей подошёл от бочек, встал сбоку и слушал, и было слышно, как он дышит ртом.

— И вышла на нас новая, — сказал Сажин. — Крупнее тех, что у частокола легли. В холку выше. И она не бросилась.

— Как не бросилась.

— Просто стояла. — Он показал ломом на землю. — Мы огонь запалили, ветошь на палке, и она стояла в шагах восьми и глядела, долго. Я успел подумать, что она в ту сторону не пойдёт. Потом пошла.

Гуж всё ещё не отдышался и заговорил через силу, на каждом слове морщился и прижимал ладонь к плечу крепче.

— Она отходила от огня, — сказал он. — Задом. И сказала.

— Что сказала?

— Не слова. — Гуж искал, чем сказать, и не нашёл. — Так говорят, когда за стеной, и слов не разберёшь, только слышно — человек. Вот такое. Оборвалось на середине.

Я посмотрел на Сажина, и Сажин кивнул один раз.

Тимофей ударил кулаком по столу — он к тому времени уже вошёл в барак, и я через проём видел, как от удара вздрогнул синий язычок на банке, лёг набок и выпрямился.

А я стоял и думал не про клетки. Я думал про то, что у цистерны, в первый месяц, звало Аглаю по имени — «Аглаюшка», — и голос был Прокопия, и оно этим голосом звало. Значит, оно берёт голос. Значит, и эта берёт. Только та выговаривала слово целиком, а эта не смогла.

Аглая тронула меня за локоть.

— Юрий Аркадьевич. Плечо.

— Что с плечом.

— Резаное. Замотали поверх рубахи, а рубаха в пыли. Мне его надо разматывать сейчас, и мне надо воды. — Она уже шла к бочке. — Спиридон, сюда. Не садись, стой.

— Я сяду.

— Стой.

Про плечо тут больше никто не думал. Митяй стоял с ломом и не спрашивал про шкуры. У дальнего конца частокола Сивоок говорил с двумя своими, тихо, и один из них показал рукой

куда-то за бочки, вниз, и Сивоок покачал головой и показал дальше. Я на них посмотрел и пошёл в барак за письмом.

Оно лежало там, где я его оставил, под коробом, свёрнутое, нитка крест-накрест. Я взял его в левую руку и стоял с ним у стола.

Одно — там, за кордоном, бумага без подписи. Другое — внизу, под литейным, ниши в рост, одна от другой на одинаковом расстоянии. И выходило, что это одно и то же место.

Игнат сказал из угла:

— Мне три дня. Ты меня подожди.

Глава 9. Знак на притолоке

Свеча была последняя. Я развернул письмо во второй раз, по старым сгибам. Лист топорщился, и пришлось прижать край банкой с огарком.

— Ты его читал, — сказал Тимофей. Он сел напротив. — Дважды.

— Не всё.

— Как это не всё?

— По сгибу шло. — Я повёл ногтем по строке. — Чернила там выцвели, а я в темноте читал. Тут ещё строка есть.

Аглая пришла от бочек, вытирая руки о полу халата. Плечо Гужу она замотала, воды на промывку ушло больше, чем мы думали.

— Читайте, — сказала она.

— «В среднем ярусе цехов, за литейным, была секция хранения образцов. Если она цела, вы найдёте её по нишам в кладке: они идут через равные промежутки». — Я поднял глаза. — Дальше. «Сообщите мне, что там осталось, — и я перешлю вам то, что лежит в архиве. Бумаги, с печатями».

Тимофей рук не разжал.

— Ниши, — сказал он.

— Ниши.

— Сажин их вчера описал. При двадцати человеках. Мы стояли у бочек, и он их описал: в рост, через равное, прутья вязаны. — Он подождал. — А в бумаге они с той недели лежат.

— Он про них раньше знал.

— Или ему их вчера рассказали. — Тимофей развернулся ко мне. — Ты пойми, что тут написано. Тут написано: пойдти туда, где ниши, и стой там, и погляди хорошенько. Ловушка, Юрий Аркадьевич. Кто-то посчитал, что нас двадцать семь, что на двадцать семь четыре патрона, что один лежащий и один резаный, — и написал, куда нам выйти всем скопом на открытое. Пока в частоколе три дыры.

— Частокол чинят.

— Чинят. Сивоок с двумя, и гвоздей два.

Аглая села на ящик слева и повернула к себе отбитый край кружки.

— Марфа Петровна, — сказала она.

— Марфа тут при чём?

— Она послала Демьяна. Про Векшина у брода всё расписала: и проволоку с банками, и кто где лежит, и сколько их. — Она помолчала. — Мы туда не полезли. Она нас перед тем обсчитала, при нас, на дощечке. И она же один раз сказала правду. Если мы ни одному чужому не поверим ни в чём, мы так и будем слепые, и слепыми нас доедят.

— Марфа — торговка, — сказал Тимофей. — У неё лицо. У неё имя. У неё дверь и коза за баней. — Он положил одну руку на столешницу и опять скрестил руки. — А тут призрак из столицы. Бумага без подписи. С Марфы я мог спросить. А тут кого искать? Двор какой, дверь какая? Это не одно и то же, Аглая Ильинична.

— Я слышала.

— Ты слышала, а сравниваешь.

Митяй встал в проходе с ломом под мышкой.

— Юрий Аркадьевич, шкуры-то.

— На бочку положил?

— Положил, мездрой кверху, как сказали. Так к ней гарь пристала. Битая — шесть, а с гарью и шести не даст.

— Обскобли ножом.

— Ножом-то я обскоблю...

— Митяй.

Он ушёл, волоча лом по кирпичу.

Справа от сердца двинулось.

«Забавно. Он выжил в трёх приступах, дважды под кладкой, а теперь боится бумаги.»

Ждал ещё, но больше ничего не было.

— Оно говорит, — сказал я вслух, — что человек три приступа пережил, а теперь бумажки боится.

Тимофей открыл рот. Аглая рассмеялась и сразу прижала руку ко рту.

— Простите, — сказала она. — Это не смешно.

— Смешно, — сказал я.

— Смешно, — сказала она. — У меня к утру двое резаных, а я смеюсь над свечкой.

Тимофей посмотрел на неё, потом на меня и полез рукой под столешницу, к своей проволоке на ножке, и подёргал её.

— Малой группой, — сказал я.

— Что.

— В цеха. Не отрядом. Трое, чтоб глянуть на эти ниши и на прутья, и назад. Либо там то, что он пишет, либо там нас ждут.

Тимофей проволоку не отпустил.

— Трое, — сказал он. — Не ты.

— После.

— Два дня, — сказал Игнат из дальнего угла. — Ты меня подожди.

— Два дня и есть, — сказал Тимофей. — Два. Не сегодня.

— Сегодня иду я, — сказал я. — И ты со мной.

Он отпустил проволоку и вытер пальцы о штанину.

— Я говорил — не ты.

— Говорил. — Я переложил гранёный в левую. — В цеху бить некому, кроме тебя. Сажин там был, дорогу знает, он и поведёт. Сивоок пойдёт четвёртым.

— Сивоок.

— Сивоок.

— Его люди у нас девятый день, — сказал Тимофей. — Их одиннадцать, стоят в дозоре по нашему порядку, я на них и ведомость завёл. А самого его ты в цех тащишь, вниз.

— Затем и тащу.

— Ты его проверять идёшь или тварей смотреть?

— И то и то.

Тимофей помолчал и тяжело поставил кулак на столешницу.

— Ладно, — сказал он. — Тогда Кузьма на воротах. Он у нас один остался, кто не хромает.

— Он к Марфе шёл.

— Он к Марфе четвёртый день шёл. Ещё день перетерпит, а стоять всё равно некому. — Он загнул палец. — Двадцать семь нас, из них один лежачий, четверо со швами, а на посты надо по двое.

— Я не лежачий, — сказал Игнат.

— Ты в лубке.

— Лубок мне Аглая Ильинична сама вязала. А в лубке я быстрее скачу, чем Митяй на двух целых. — Он приподнялся на локте и лёг обратно. — Я на одной ноге до третьего провала дойду и сяду, как обещал.

— Сядешь у частокола.

— Сяду у частокола, — сказал Игнат в потолок. — Девятые сутки пенька у крана лежит, а меня в лубок.

Аглая вышла из угла с кружкой и поставила её на стол вверх дном.

— Спиридон, — сказала она в проём. — Сюда.

Гуж вошёл, придерживая ладонью плечо, и не сел. Она молча размотала тряпку и отвела край.

— Резаное, косо, до мяса, — сказала она. — Мотали прямо по рубахе, а рубаха в саже. Надо промыть и стянуть, а стягивать я буду долго: нитку сушу третий раз.

— Так стяните быстрее.

— За час не стяну. Вы останетесь.

— Не останусь, — сказал Гуж. — Рука нож держит.

— Правая держит. Резаное на левом.

— Мне левой и не надо.

Она подождала.

— Поднимите её.

Он поднял — до плеча, не выше, и лицо у него дёрнулось.

— Видите.

— Вижу, что до плеча.

Аглая посмотрела на меня. Я глядел на её руки, на обломанный ноготь, и молчал.

— Идите, — сказала она. — Промою, замочу чистой стороной — и пойдёте. Если разойдётся в цеху — я туда не приду.

Канистру она взяла за горло и качнула — на дне булькнуло.

— Меньше трети, — сказала она. — Тимофей Игнатьевич, вы считали на день.

— Считал на день, а идут пятеро.

— Пятеро. — Она поставила кружку с отбитым краем на стол, налила на два пальца и подвинула Сажину. — По глотку. Больше не дам, у меня к вечеру швы мыть.

Сажин выпил и обтёр рот ладонью. Сивоок взял кружку, посмотрел в неё, потом выпил и поставил её обратно. Гуж пил левой, придерживая кружку правой. Мне она налила последнему.

— А тем, кто остаётся? — спросил Митяй с прохода. Лом он и тут держал под мышкой.

— Тем и останется мало, — сказала Аглая.

— Так я к тому, что я шкуру-то обскоблил.

— Митяй.

Митяй отступил на шаг и встал так, чтоб было видно стол.

На пороге Тимофей раскладывал железо по доске: два ружья легли рядом, стволами в одну сторону, и два патрона возле них.

— Два, — сказал он. — На два ружья два патрона. Дробовик с двумя тут остаётся, при воротах, я его не отдам: если полезут сюда, голосом не отгонишь.

— Порох?

— Порох есть. — Он вынул из-за пазухи мешочек и подержал на весу. — Четыреста граммов. И лить не из чего — ни формы, ни свинца.

Тесёмку он затянул и сунул мешочек обратно за пазуху.

— Ты пойми, — сказал он мне, не поднимая головы. — Если в цеху будет бой, у нас первые минуты. Две минуты, ну три. Дальше сталь.

— Сталь есть.

— Сталь есть, — сказал он и сунул за пояс топор с зазубриной.

За стеной кран что-то поднял и бросил, и мы пошли мимо бочек — в пятером, по одному в лаз.

За лазом Сажин свернул с наката влево, вниз, в канаву, и пошёл её дном, и мы за ним. Он тут ходил третьего дня и ставил ногу, не глядя.

— От канавы до эстакады триста, — сказал он, не оборачиваясь. — Потом вагон, от вагона верхом по кладке, и всё.

Эстакаду я увидел раньше, чем он на неё показал. Один пролёт сошёл с опор и лёг косо. Верх эстакады проломило, и в проломе торчали прутья, все загнуты в одну сторону.

Шаги от опоры я считал и на сорока сбился: правую ногу я ставил боком, и она загребала.

— Вагон, — сказал Сажин.

Вагон стоял в траве без колёс, на брюхе, весь рыжий, откатная дверь сдвинута на четверть, и в ней песок горкой.

— Я тут в первый раз сидел, — сказал Сажин. — Вот в нём. Ждал, пока пройдут.

— Сколько ждал? — спросил Сивоок.

— Не считал. Долго. — Он переложил лом. — Я вот про что хочу сказать, пока идём. В тот раз, из глубины, из-под литейного, оттуда, — он показал ломом, — оттуда шло. Не вой. Я вой слышал сто раз.

— А что.

— Стон. Как человек стонет, когда его ворочают. — Сажин помолчал. — И оно это сделало перед тем, как отойти. Простонало и стало отходить задом от огня.

— Оно, значит, стонало, а потом ушло, — сказал Сивоок.

— Да.

— Значит, ему было больно.

— Я не знаю, что ему было. Я говорю, что слышал. — Сажин оглянулся на меня. — Я это тогда Тимофею Игнатьевичу не сказал.

— Почему.

— А что говорить. Стон и стон.

Гуж шёл последним и придерживал правое плечо ладонью, и на каждом шаге у него коротко выходило через нос.

— Спиридон, — сказал Тимофей, не поворачиваясь. — Отстанешь — скажи.

— Не отстану.

— Ты говори сразу. Мне тебя потом на спине нести, а у меня колено не сгибается.

— Так я и говорю: не отстану.

Верхом по кладке шли молча. Кладка была в шаг шириной, с той стороны обрыв в подвал, и я шёл, глядя себе под ноги, потому что разогнуться не мог.

Дверь была в торце, железная, её отвели наружу и заклинили щебнем. Рама бетонная и целая, а цех вокруг неё сел.

— Тут, — сказал Сажин.

На притолоку я поглядел сразу, потому что казённое на Реакторе пишут там, по трафарету.

Оно там и было — полустёртое, но читается: «СХ-3». Буквы трафаретные, с перемычками, краска сошла, а на бетоне остался след. Правее, на ладонь, — остаток оттиска: круг обломан, а внутри контур, и у контура две головы, одна влево, другая вправо.

Такое я видел трижды. На ватнике у векшинского — там выжгли клеймом через ткань. На груди у того, кого Тимофей с Игнатом принесли на двери. И на шкуре, которую срезали у гребня.

— Вот и знак на притолоке, — сказал я.

— Чего? — Тимофей подошёл ближе.

— В письме сказано: секция хранения образцов. Вот она. Три.

Сивоок подошёл ближе и тихо присвистнул сквозь зубы.

— Ну, — сказал он. — Я двенадцать лет бумагам не верил. И правильно делал. А эта без подписи знала, куда нас послать. — Он потрогал букву пальцем, поглядел на палец. — Лучше бы врал.

На притолоку Тимофей глядел долго, стоя всей ступнёй на одной левой ноге. Потом снял ружьё с плеча и взял его за шейку.

— Я тебе всю ночь говорил: бумага, — сказал он. — Бумага и есть. Меня Аглая Ильинична словами не переговорила, и ты не переговорил. А это по трафарету вбито, казённо, и вбито до нас. Это я пощупать могу. — Он попробовал ногой щепень у порога.

За дверью не было ничего видно, только оттуда шло духом — сладко и тяжело, как от туш у гребня, и сквозь это остро, так что щипало в носу.

— Химией пахнет, — сказал Сажин.

— Пахнет, — сказал Тимофей и шагнул через порог первым, ружьё наперевес.

Пошёл я третьим, потому что через порог надо перешагивать, а правую ногу я поднимаю плохо.

Внутри было выше, чем казалось от двери. Свет от факела Гужа доходил шагов на шесть, а дальше уже ничего не видно. Стеллажи шли двумя рядами, железные, в четыре полки, и половина повалена, один на другой, будто их толкали от дальней стены к выходу. На полках битое стекло. Много. Ёмкости были круглые, литра на два, с широким горлом, и от них остались донца — и в каждом донце засохшая плёнка, коричневая, в трещинах, как грязь в пересохшей луже.

— Не наступай, — сказал Сажин. — Тут стекло по всему полу.

— Я вижу, — сказал Тимофей.

— Ты правой не чувствуешь, где стекло.

— Я левой чувствую.

Гуж поднял факел выше и держал его на вытянутой руке, подальше от стеллажей, и рука у него ходила.

— Спиридон, — сказал я. — Ты его на локте держи.

— На локте не могу. Локоть к плечу тянет.

— Тогда стой у прохода и не двигайся.

Сажин прошёл вдоль ряда и сел на корточки у третьего стеллажа от двери. Там между стойками стоял ящик — деревянный, с ручкой-прорезью в торце, и сверху его накрыло полкой.

— Тут бумага, — сказал он.

Ящик был набит карточками на ребро, плотно. Бумага высохла, как луковая шелуха, но в труху всё же не рассыпалась. Я взял верхнюю левой рукой — правая всё равно не берёт — и потянул на себя, и она пошла с треском, и в пальцах осталась половина, а вторая осела в ящик.

На той, что осталась, читалось «образ» и дальше «ец», и через пробел — цифры. Три цифры, а перед ними ещё что-то, уже не разобрать.

— Не тяни, — сказал Сивоок. — Ты её так всю раскрошишь.

— Знаю.

— Возьми весь ящик и не лезь в него до барака.

— Возьму весь ящик.

— Я бы весь и брал. — Он присвистнул сквозь зубы. — Гляди: они тут по номерам стояли. По номерам, Юрий Аркадьевич. Я думал, тут склад, а тут учёт.

Над ящиком встал Тимофей, держа ружьё за шейку, и глядел на бумагу сверху, не наклоняясь.

— Двадцать семь нас, — сказал он. — Из них девятнадцать боеспособных, и восемь я отпустить не мог, потому что частокол в трёх местах. Мы сейчас впятером стоим тут, а там четверо на весь круг. Я это к тому говорю, чтоб ты помнил, чего этот ящик стоит.

— Помню и не забуду.

— Помнишь. — Руки у него были на ружье. — И воды в канистре меньше четверти. Мы сюда шли шесть часов и пили в дороге. Я тебе это ещё во дворе говорил, а ты мне тогда про притолоку сказал.

— Я тебе про притолоку сказал, и притолока там и была.

— Была, — сказал он. — Была.

И я стоял с половиной карточки в левой руке и не сказал ему, что переспорила его притолока, а я тут был сбоку. Пока я этому радовался, я не спросил у Гужа, заряжен ли трофейный. Два патрона на него лежали на доске, и я сам их считал, а взял ли их кто — не спросил ни во дворе, ни на тропе, ни тут.

Сажин прощёлкал суставы пальцев на обеих руках.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — Я про ту, что в прошлый раз. Она...

— Стой, — сказал Гуж.

Он повёл факелом в дальний угол, где стеллажи лежали навалом.

Там двинулось. Не крупное — с собаку, если по высоте, только собака так не идёт. Оно шло на четырёх, низко пригнувшись, и передние лапы ставило по-людски — как ставят руки, когда лезут под низкую трубу.

Оно отступило за стеллаж, и оттуда пришёл скрежет, тихий, на одной ноте. Два раза и ещё раз.

— Вот, — сказал Гуж. — Как я говорил. Как за стеной.

Сажин поднял лом.

Я поднял левую руку и подержал её так, пока он не опустил лом.

— Не идём, — сказал я. — У нас два патрона на два ружья. Берём ящик и назад.

— Оно уйдёт.

— Пусть уйдёт.

Ящик взял Сажин, под мышку, а лом переложил в другую руку. Пошли к проёму, я последним — разворачиваться мне долго, и я разворачивался одной головой.

И оно оглянулось.

Свет от факела достал его на один счёт, не больше. Лицо было человеческое и порченное: кожа стянута вбок, одной брови нет, челюсть длиннее людской. И я стал прикладывать его к людям — к Прохору, к Фролу Чекану, к тому рябому из насосной. Не сошлось ни с одним из них, и я всё стоял и глядел, пока Гуж не отвёл факел.

— Юрий Аркадьевич, — сказал Тимофей от двери.

Я переступил порог. За спиной опять проскрежетало, те же два раза и ещё раз, и это было слово.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.